

Книга первая

Александр

Половец БП. Между прошлым и будущим

Булат ОКУДЖАВА

Василий АКСЕНОВ

Абдурахман АВТОРХАНОВ

Анатолий АЛЕКСИН

Андрей БИТОВ

Петр ВАЙЛЬ

Анатолий ГЛАДИЛИН

Михаил ГОРБАЧЕВ

Александр ГОРОДНИЦКИЙ

Игорь ГУБЕРМАН

Сергей ДОВЛАТОВ

Евгений ЕВТУШЕНКО

Виктор ЕРОФЕЕВ

Билл КЛИНТОН

Елена КОРЕНЕВА

Савелий КРАМОРОВ

Владимир КУНИН

Эдуард ЛИМОНОВ

Олег ЛУНДСТРЕМ

Наталья МЕДВЕДЕВА

Евгений ПОПОВ

Марк РОЗОВСКИЙ

Эфраим САВЕЛА

Юлиан СЕМЕНОВ

Саша СОКОЛОВ

Илья СУСЛОВ

Вениамин СМЕХОВ

Борис СИЧКИН

Лев ХАЛИФ

Лев ШАРГОРОДСКИЙ

Михаил ШЕМЯКИН

и другие



Александр Половец

**БП. Между прошлым и
будущим. Книга первая**

«Автор»

2012

Половец А. Б.

БП. Между прошлым и будущим. Книга первая / А. Б. Половец —
«Автор», 2012

В первый том трилогии «БП. Между прошлым и будущим» вошли тексты впервые опубликованные в разные годы в периодике и в авторских сборниках. Книга представлена вступлением и послесловием ведущих литературных критиков и писателей.

© Половец А. Б., 2012

© Автор, 2012

Содержание

Об Авторе	5
Предисловие	6
Книга первая	10
Вступление	10
Часть 1	11
Глава 1	11
Глава 2	13
Глава 3	15
Глава 4	18
Глава 5	20
Часть 2	28
Глава 1	28
Глава 2	37
Глава 3	39
Глава 4	41
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Александр Половец

БП. Между прошлым и будущим

– Трилогия. Книга первая

Об Авторе

Александр ПОЛОВЕЦ член Союза писателей Москвы и Русского ПЕН-центра, родился в 1935 году в Москве. Окончил Московский полиграфический институт, работал в различных издательствах.

Эмигрировал в США в 1976 году. Работая в международной издательской фирме, одновременно основал в 1977 году в Калифорнии, русское издательство “Альманах” выпустившее ряд книг, в частности, первую на Западе русско-английскую двухтомную антологию анекдотов из России «Недозволенный смех», первыми изданиями «Центральный Дом Литераторов» Л.Халифа по рукописи вывезенной нелегально из СССР, сборник «Русская кухня в изгнании» П.Вайля и А.Гениса, и др.

С 1980 г. по 2000 год – главный редактор и издатель, основанной им, газеты «Панорама», ставшей самым популярным еженедельным газетным изданием на русском языке в США. Автор книг выходивших в США – “Беглый Рачихин и другое”(1987 и 1996 г.г.), «И если мне суждено» (1991), “Для чего ты здесь...” (1995), “Такое время” (1997), “Все дни жизни” (2000), “Булат” (2001), и изданных в Москве – «Мистерии доктора Гора» (2006), «БП. Между прошлым и будущим» (2008), множества газетных и журнальных публикаций в американской и российской периодике.

Президент Всеамериканского культурного фонда, носящего имя Булата Окуджавы, с которым он дружил многие годы.

Живет в Лос-Анджелесе.

Предисловие

Татьяна Кузовлева. Вечера под часами, идущими вспять

Так входят в лес. По просеке. Вдоль жизни. Вдоль памяти. И не всё ли равно – с востока на запад или с запада на восток. И задержаться на миг – всё равно что остаться навечно.

Так входят в реку, где отмель падает в обрыв. Где опасно закручены водовороты. Где течение сносит в сторону, а ты во что бы то ни стало держишься намеченных ориентиров на том, другом берегу. И выплыть – значит выжить.

Так вхожу в эту книгу, где события и люди расступаются, чтобы затем плотно взять в кольцо, в котором ты если и не действующее лицо, то – очевидец, единомышленник, друг.

Вхожу в книгу, где авторские отступления не уводят в сторону, а строго держат главное направление движения. Направление выбора судьбы. Где время – то прогибается под ногами болотной топью, то выгибается твердью, хребтом, на котором, кажется, и устоять-то невозможно, только – перешагнуть, идти дальше. Не останавливаясь. Не оглядываясь. Но как? – если стрелки часов неумолимо раскручиваются в обратную сторону. И прошлое перемещается в настоящее, а настоящее сдвигается в прошлое. И выстраивается мост между Будущим и Прошлым (БП. Хотя у автора может быть и другое толкование названия книги).

Я листаю эту книгу не первый вечер под часами, идущими вспять. Я и сама – на мосту, взгорбленном над Настоящим. Вздрыбленном поверх него. Но опоры-то моста – именно здесь, рядом со мной, с нами, в нашем сегодняшнем дне. Мост этот нельзя ни миновать, ни обойти – столько судеб, не счесть, ярких, часто – драматических, подчас – трагических, принадлежащих не только России, но и миру, сошлось на этом виртуальном мосту. И всё же тут – всё реально: и голоса, и лица, и характеры, и улыбки, и тревоги, и надежды, и разочарования, и дружеские объятия, и осторожная отстраненность, и готовность откликнуться на чужую беду, и христианское прощение тех, кто обидел, предал. Тут – Россия, Америка и снова Россия. Тут наше давнее и недавнее. И главное, – по этому мосту нельзя идти строем, в ногу. Обрушится. Только – вольным шагом, «нестроевым».

И какие имена звучат здесь! Почти каждое – знаковое: Окуджава, Гладилин, Городницкий, Ахмадулина, Мессерер, Саша Соколов, Лимонов, Аксенов, Евтушенко, Кунин, Коржавин, Олег Лундстрем, Авторханов, Довлатов, Шемякин, Губерман, Крамаров, братья Шаргородские, братья Сусловы... Это и есть кольцо, которое объединило тех, кто оказался физически и духовно отторгнут советской системой. Чей выбор судьбы зависел отнюдь не только от личной воли. Тут вмешивалась беспощадная воля государства, тут стальными траками прошлась по живой плоти интеллигенции советская власть. Все они, и не названные мной, но оттого не менее достойные упоминания, собраны Александром Половцем в его вроде бы автобиографическом повествовании.

Да и разве вместить в одну биографию соприкосновения и сосуществование стольких миров – литературы, музыки, живописи, театра, кино, политики (взять хотя бы три встречи в Белом доме с президентом Биллом Клинтонem)... И всё же – все эти миры вместились в одну судьбу, в одну биографию, с ее разновозрастными этапами, с военным детством, армией, учебными и рабочими буднями, с неожиданными, цепко выхваченными из окружающего образными деталями, с немногословными откровениями, забавными и трогательными частностями. Со всеми мытарствами многолетнего вживания в другую среду.

...У каждого советского эмигранта была своя капля, переполнившая чашу унижений и предшествовавшая расставанию с родиной. У Александра Половца этой каплей стала фраза, завершившая встречу-допрос, брошенная ему в середине семидесятых, как бы через губу, оскорбительно и высокомерно партийным функционером: «Свободен!» – прозвучавшая как «поди прочь». Ты – чужой. Не наш.

«Если бы только этот партийный хмырь знал, насколько пророческими окажутся его слова!.. Свободен. Уезжаю, всё! Увольняюсь. Риск? Да, немалый – это помнят отказники тех лет...». Он и уехал. Вдвоем с двенадцатилетним сыном. 1 апреля 1976 года. Как в пропасть с обрыва. Австрия. Италия. Америка. А там – «страна эмигрантов и апельсинов» – Калифорния.

Его нынешний дом в Каменном каньоне Лос-Анджелеса уже многие годы обживают русские поэты, барды, прозаики, артисты, музыканты, композиторы... Не любому открыт дар собирательства. Не всякая личность наделена безошибочной интуицией угадывания, притягивания к себе талантов, отмечена таким безграничным интересом к жизни. Такой неутомимой жизненной и творческой энергией. Ему – открыт. Он – наделен и отмечен.

«Отец», отнюдь не крёстный, а действительный, крупнейшего в Америке серьезного русского еженедельника «Панорама» («величественная» – полушутя, но вполне серьезно когда-то отозвался о ней в своих заметках Сергей Довлатов), его главный редактор с основания в 1980-м и до 2000-го года. Теперь, следуя вспять за часовой стрелкой, можно проследить, как «Панорама» стала не только для нашей эмиграции 70-80-х, но и для десятков зарубежных университетских кафедр славистики необходимой и неоценимой – она знакомила с неподцензурными прозой и поэзией, публиковала беседы с известными дипломатами, политиками, общественными деятелями, артистами, прилетавшими в разные годы в Лос-Анджелес; она непредвзято и объективно рассказывала о событиях в мире, о стране, где родились и прожили большую часть жизни наши бывшие соотечественники, где остались их близкие и друзья, осталась их светлая и горькая память.

«Панорама» никогда не была эмигрантским изданием – она была и в силу традиции остается сегодня американской газетой на русском языке. Именно поэтому она принесла ее редактору и издателю столь широкую известность в разных частях русской Америки.

Свидетельствую: оставивший «Панораму» несколько лет назад, он до сих пор узнаваем русскими американцами.

– Половец, вы? – радостно бросается к нему пассажир рейса Москва – Лос-Анджелес в Шереметьевском аэропорту.

– Я ведь один из первых ваших подписчиков. Спасибо!

– Тот самый Александр Половец? – оживает в лос-анджелесском офисе “Bank of America” миловидная блондинка, владелица русского турагентства. – Надо же! «Панорама» была для меня и моей семьи единственной связью со всем, что мы оставили, уезжая из СССР...

– Не узнаете? Это я принес вам первую рекламу. С тех пор храню все годовые подшивки «Панорамы»... – улыбается немолодой мужчина, пришедший на лос-анджелесскую презентацию книги А.Половца «Мистерии доктора Гора», опубликованной недавно в Москве.

«Панорама» родилась не на пустом месте – к ней он шел, шаг за шагом накапливая опыт, – то берясь за издание небольшой газеты «Обозрение», макет которой выклеивался по ночам (днем – работа в одном из американских издательств), вручную, буквально на полу в одной из первых его квартир; то публикуя нелегально вывезенные авторами из СССР рукописи, то пытаясь организовать первый в Лос-Анджелесе магазин русской книги. Но и через многое ещё – ради хлеба насущного...

В Америке у него вышло шесть книг, известных у нас и отмеченных критикой, – “Беглый Рачихин и другое”(1987, 1996), «И если мне суждено», “Для чего ты здесь...” (1995), “Такое время” (1997), “Все дни жизни” (2000), “Булат” (2001).

В России вот эта книга – вторая после «Мистерий...». С расшифрованной в конце повествования аббревиатурой БП. С бесценными письмами бесценных корреспондентов. С редчайшими фотографиями, подобных которым, убеждена, нет, ни в одном частном архиве, а те, что воспроизведены в книге, – лишь небольшая доля хранящегося у автора. То же самое можно отнести и к отбору текстового материала.

Словом, всё вместе – это свидетельства писателя, для которого «дух отрицанья, дух сомненья» и сегодня определяют оценку происходящего вокруг. А совесть и порядочность высвечивают чистоту жизненной позиции.

Это дает автору право говорить от имени тех, кто в разные годы не захотел, не смог поступиться чувством человеческого достоинства. Одни – оставаясь в стране, находясь во внутренней эмиграции, другие – не легко и не просто принимая решение о выезде, без надежды когда-нибудь вернуться. Кому в итоге пришлось легче, не будем судить. Люди мыслящие всегда и при любой системе оказываются в зоне риска. И все-таки – парадоксально! – среди покинувших в разные годы и по разным причинам нашу страну не так уж мало унесших в себе почти болезненную причастность ко всему, что происходило и происходит здесь и сейчас, сохранивших неослабную приверженность русской культуре, любовь к родному для нас и здесь и там русскому языку. И я с благодарностью думаю о них.

* * *

«...Однажды, – рассказывается в «БП», – парень, служивший сторожем в Пушкинском музее, Сергей Волгин, прочел четверостишие, поразившее Булата настолько, что он запомнил и вот теперь по памяти смог его воспроизвести. Я его тоже запомнил:

*Обладая талантом,
Не любимым в России,
Надо стать эмигрантом,
Чтоб вернуться мессией...*

Черт меня дернул тогда влезть со своей шуткой:

– Неплохо, – прокомментировал я, – хотя редакторский опыт подсказывает: стихи можно урезать вдвое.

Булат вопросительно посмотрел на меня, и я продолжил:

– Здесь явно лишние 2-я и 4-я строки. Смотри, как хорошо без них: “Обладая талантом... надо стать эмигрантом...”. Вот и всё».

* * *

Хотелось бы оспорить это? Хотелось бы. Хотя бы потому, что за державу, как всегда, до смерти обидно. А за нас, от которых многие имена были до последнего времени закрыты, пожалуй, обиднее всего. Теперь эти имена возвращены. И принадлежат многие из них не только настоящему, но и будущему. Для меня это особенно очевидно, когда перевернута последняя страница книги, которую я начала читать под странными часами, идущими вспять.



Книга первая Свидетельства

Только берегись, и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих.

Второзаконие, 4:9 (Пятая книга Моисея)

Вступление

Часы, как и должно быть, устремлены движением стрелок в некое «после» – именно это их функция. И это нормально.

Хотя не всегда: вот как-то досталось автору купить в магазинчике, где продавались всякие забавные штуки, такие часы, в которых стрелки шли назад, и соответственно цифры на них располагались по кругу в обратном порядке. Ну, как обычные смотрелись бы своим отражением в зеркале, висящем напротив. Я поместил эти часы на стену рядом со старыми – прямо над письменным столом.

И не напрасно – эти часы очень помогли, когда я приступил к попавшим в эту книгу заметкам, собирая их из памяти, из главок публикаций, сделанных в разное время и в разных изданиях за эти годы: если наблюдать за их ходом, следом за стрелками легко оказаться там и тогда, когда всё ещё впереди.

А теперь уже нет – не всё. Ну, а что было – было.

Часть 1 Начала...

Глава 1 Отец

Город не первый день бомбят. Сначала из динамиков – вогнутых центром внутрь черных бумажных тарелок – раздается: «Граждане, воздушная тревога!..» И снова – «Граждане, воздушная тревога!..» И так – пока не пустеют густо заселенные квартиры: жильцы поспешно перебираются в тоннели метро, в подвалы домов – теперь это бомбоубежища. С собой захвачено самое необходимое, узелки, рюкзаки всегда наготове.

Никто не знает – надолго ли оставлено жилье? Да и вообще, уцелеет ли оно? Отстукивает в динамиках метроном – и так до следующей тревоги, а они – все чаще и чаще. Город пустеет: эшелон за эшелонам увозит людей: ополченцев, наспех сформированные воинские части – на запад, эвакуируемых – на восток.

Наверное, это первое, что сохраняет твоя память: открытые двери товарного вагона. Теплушка. К стенам прикреплены сколоченные доски, образуя подобие нар – на них как-то умещается население вагона. По несколько десятков человек на вагон: женщины и дети. Хотя есть и старики – их немного: не все решились оставить город ради неведомого – даже если оно сегодня выглядит спасительным. Людей эвакуируют из осажденного города. И почему-то здесь же, в вагоне – несколько вовсе не старого вида мужчин. Остановка – и снова никто не знает: долго ли простои́м? Этого обычно не объявляют: бывает, поезд трогается почти сразу, так что можно запросто не успеть взять только что купленные, а чаще – вымененные на вещи продукты.

А бывает, поезд стоит часами. И даже сутками. И тогда вагоны отцепляют на запасные пути, давая путь спешащим к фронту составам с военной техникой и встречным – с товарами осажденному городу, этих меньше, гораздо меньше.

Люди бегут куда-то за платформы – там уборные, дощатые, наспех сколоченные в эти дни домики с прорезанными в полу над выгребной ямой дырами. Редко кому достается попасть в станционные – вонючие, загаженные – уборные. Поезд стоит... стоит... Снаружи, где-то внизу – закутанные толстыми вязаными платками по самые брови тетки с корзинами и бидонами, они протягивают к раздвинутым дверям теплушек – буханки, крупно нарезанные куски тыквы, стаканы с семечками, стеклянные банки с топленым молоком... светло-коричневая пенка, покрывающая поверхность молока, – всё за нее можно отдать!

Даже на расстоянии видно, какие они толстые – и тетки, и их шерстяные платки. За спинами теток – колонка с кипятком, туда бегут с чайниками, с термосами из всех теплушек. Когда и где еще остановится состав в другой раз, когда достанется бросить щепотку заварки в алюминиевую кружку или в тот же чайник, кто знает...

И почти сразу – в твоей памяти проявляется следующий кадр. Ты, с трудом дотянувшийся до окна (оно крохотное – квадрат, вырезанный в стене вагона, забранный железной решеткой, – наверное, вскарабкался на чей-то чемодан), увлеченно просовываешь в решетку одну за другой чайные ложечки. Они, подхваченные встречным ветром, исчезают в проносившихся за стенами вагона кустах, но ты этого не видишь – окно почти под самым потолком, в него не заглянуть.

Потом родители будут говорить, что ложки серебряные и должны были служить основой будущего благополучия твоего и мамы – там, куда сейчас несет вас состав, забитый москов-

скими беженцами. Вас эвакуируют. Эвакуация – совсем новое слово для всех в вашем вагоне. И в соседних тоже.

Дальше – картины чуть яснее.

* * *

Раевка, Башкирия, год 1942-й... Большая комната, непокрытый деревянный стол, на нем желтоватые запотевшие кирпичики с округлыми краями – это замороженное сливочное масло, принесенное с местного базара. Некто совсем небольшого, почти детского роста, даже ты это замечаешь, с морщинистым лицом, потом окажется – ваш дальний родственник, перекладывает кирпичики листками газетной бумаги, на боках их образуются рваные типографские строчки.

Он почему-то снова здесь, когда масло куда-то уносят. Вот он разматывает куски темной, плотной на вид материи, трясет ею перед тусклой керосиновой лампой, приговаривая: «бостон-финдиклер, бостон-финдиклер» – под эту абракадабру, кажется, и выменено на материю у местных башкир масло. А на улице – много снега, слепяще-белого снега.

Тот же, 1942-й. Бийск, Алтайский край. Кажется, здесь и правда – самый край земли. А вот уже – цельные сюжеты, они навсегда заняли место в твоей памяти.

...Из самых ярких, пожалуй, вот этот: рынок, нестарый мужичонка в солдатской гимнастерке, он одной рукой придерживает зажатый под мышкой костыль, другой пытается прикрыть голову – а именно в нее целится попасть деревянным дрыном преследующий его некто. Скорее всего, – выбежавший из-за прилавка торговец, у которого инвалид пытался что-то спереть, или недоплатил рупь.

Лицо инвалида в крови, он под ритмичными ударами обиженного торговца пошатывается – точно им в ритм, неуверенно переставляет ноги, то ли топчется на месте, то ли ковыляет, когда к его гонителю присоединяется еще один мужик, и еще один... Инвалид медленно перемещается в сторону ворот, торговец не отстает от него, теперь уже небольшая толпа следует за ними – молча, иногда кто-то из толпы сочувственными возгласами подбадривает торговца, как бы соучаствуя в справедливой экзекуции.

* * *

...Кладбище разбитых грузовых машин, самое замечательное место в городе. А может, и во всем мире – оно почти в центре города. Свалка автомобилей – это по-настоящему здорово! Вот ты в группе пацанов исследуешь останки моторов под проржавевшими капотами, лавируешь в кабине между пружин, выпирающих из того, что было водительскими сиденьями, чтобы собрать неведомо как попавшие сюда детали в почти настоящие «пистолеты». Боёк-мечик-пружинка, сера со спичечных головок утрамбована в углубление металлического столбика, опоясанного крупной резьбой, столбик ввинчен в цилиндр вместе с бойком, потом...

О, потом зажатая пружинка выпрямляется, боёк ударяет в серу! – следует громкий хлопок, дым... Хлопки этих пистолетов всегда сопровождают уличные приключения твоих бийских сверстников. Расположена свалка неподалеку от вывезенного из Москвы котельного завода, где работает теперь отец.

Ага, о заводе: твой отец вывозил его – сначала почему-то в Барнаул, или в Кусу, потом сюда, в Бийск. На войну отца не пустили – он один из первых в стране специалистов по электросварке, годы спустя, уже в Москве, у вас, приезжая из Киева, ночевал Патон-отец, зачинатель советской электросварки, теперь его имя носит институт в Киеве. А завод в Бийске, может быть, только в названии сохранил слово «котельный»: здесь в закрытых цехах делают что-то

для войны, кажется, корпуса авиационных бомб. Хотя, может, здесь их и начиняют чем-то, несущим смерть фашистам.

Отец – начальник цеха, дома он появляется не часто: спят все заводские там же, где работают. Тебя приводили как-то к нему на работу: огромное пространство, где-то далеко наверху покатый потолок – он собран из стеклянных квадратов, покрытых копотью, зияет дырами. Тесно, совсем рядом друг с другом, установлены непонятные металлические сооружения, между ними деревянные сваи, поддерживающие фанерный сарайчик – контору начальника. Первого этажа нет – сваи, между ними дощатые ступени ведут сразу на помост, забран- ный невысокими перильцами.

Зато когда отец все же приходит, в доме может появиться сахар, а чаще – сладкая темно-коричневая тягучая патока – это отходы сахарозавода, заменяющие и мед, и варенье, и вообще все сладости. Иногда отец приносит белый хлеб и, главное, – пряники! В другие дни твоим и твоих сверстников главным лакомством становится жмых. Это тоже отходы производства – от заводишка растительных масел: неровные коричневые куски спрессованных остатков отжатых на масло семечек – тогда это подсолнечный жмых, или сероватые, они чуть тоньше и обладают куда более изысканным вкусом – соевые.

В патоку можно окунуть скол жмыха или кусок хлеба – чем не пирожное, о них рассказывают пацаны постарше, успевшие познать эту радость и навсегда её запомнить. Патока выдается по продуктовым карточкам, но и продается на рынке. Или выменивается на привезенное беженцами барахло – одежду, сервизы, часы...

Так вот, пряники. Сейчас ты, получив свою порцию – несколько поблескивающих гла-зурью замечательных круглых кусочков запеченного теста, нарезаешь их крохотными квадра- тиками и укладываешь в бумажном кульке на полку рядом с большой печью: они засохнут, станут хрустящими, и тогда их можно грызть, запивая горячим чаем. Праздник! Ты ходишь неделю рядом, поглядываешь на полку, где хранится твое богатство, и ждешь – когда лакомство созреет. Наконец, этот день настает, ты придвигаешь к стене расшатанную табуретку, залеза- ешь на нее и каким-то недетским усилием, едва удерживая равновесие, дотягиваешься до края заброшенного туда кулька.

Кулек пуст – его содержимое пришлось по вкусу тараканам, густо населяющим город Бийск Алтайского края. Ты и сейчас, вспоминая этот эпизод, умеешь оценить глубину трагедии семилетнего пацанка, обреченного родиться в предвоенные годы и заброшенного общей бедой сюда, в стоящий на слиянии рек Бии и Катуні сибирский городок, охваченный со всех сторон живописнейшими горными грядками.

Совсем смутно, но помнятся тебе походы с первым по жизни другом Борькой на берега Бии. Вот ведь, через десятилетия запомнилось имя, и даже фамилия – Балахнин!

Да – Борька Балахнин – надо же, удержал в памяти полвека. Так бы сейчас уметь. А больше вспомнить ничего не удастся. Хотя – нет: еще была цыганка, там же на рынке схватила твою руку, повернула ладонью вверх: «Нет у тебя рубля, так тебе скажу – быть тебе поэтом». Поэтом ты не стал – да, Господи, откуда цыганка слово это знала – «поэт»... А ведь запомнил ты это точно – тебе тогда уже близилось к десяти годам, отчего не запомнить. А может, она и не цыганка вовсе?.. А кто тогда?..

Глава 2

Дворяне Боярского переулка

Почему-то яркой картиной задерживается в твоей памяти парадная лестница дома у Красных ворот, по которой вы поднимаетесь – с мамой и Полей, Полякой, горбатенькой жен-щиной из подмосковной Сходни, которую застала в твоей семье война и которая вместе с тобою

прошла все круги эвакуационной эпопеи. Она и после войны живет еще несколько лет с вами – пока ты взрослеешь до состояния, определяющего ненужность няньки в твоём доме.

Отец догоняет вас у самой двери квартиры – у него в руках бидон с мёдом. С настоящим мёдом – потом, вспоминала мама, ты приставал к ней: мы теперь богатые, да? У нас столько мёда!..

Дом у Красных ворот. Через несколько страниц ты можешь позволить себе процитировать твой не однажды опубликованный рассказ «Анна Семеновна» – в той его части, что дает представление об этом доме, о населявших его людях.

Твой двор не был чем-то отличающимся от сотен и, наверное, тысяч московских дворов – та же послевоенная пацанва, в меру хулиганистая, иногда на грани уголовщины. Нормальные игры: футбол с тряпичными мячами, чеканочка (чека), с мелочью, расшиби, расшибалы, когда монетой покрупнее, нередко – пятаками царской чеканки, надо было попасть с расстояния нескольких метров в кучу мелочи и разбить ее, подобрав как приз победителя те денежки, что вылетали из кучки, дотянуться до них мизинцем, отмерив им расстояние от остальных монет. Или – пристенок: тоже с монетами – ударив ребром медяка, надо было попасть им, отлетевшим от стенки, в кучку мелочи на асфальте.

Конечно, и карты – у тех, кто постарше, эти играли на деньги – очко, сека, три листика (когда не было денег – на шелбаны). Но и «стычки» – драки: часто беспричинные.

В общем, двор у Красных ворот как двор – шпана, прилежные школьники, только ты лучше помнишь первых... Зимой – самодельные коньки: к деревяшкам, узким брускам, прибивались полоски листового железа, такими лентами опоясывали дощатые ящики, в просверленные дыры вдевалась веревка, ею бруски прикручивались к валенкам – получались коньки. Теперь металлическим крюком можно было ухватиться за борт проезжающего по Боярскому переулку грузовика, или за бампер легковой «эмки» – протасила тебя машина сотню-другую метров – и отскакивай скорее, не то беда: шофера были сердитые, за плечами многих оставались фронтовые годы.

И еще – набег на подвальные склады, один такой, овощехранилище, был и в подвале вашего двора: особо соблазнительны были арбузы, они куда слаще принесенных родителями с уличного развала. Потом участковый милиционер искал зачинщиков. Это еще что – бывало, «брали» уличные киоски, когда те закрывались на ночь – ребята постарше тащили папиросы. Но и картонные коробки с соевыми батончиками, влажной пастилой, этим они вместе с вами, с мелюзгой, тоже не брезговали. Случалось, вскрывали палатки с пельменями и водкой – тогда и долго еще после она продавалась из деревянных будок прямо на улице, ночью они не охранялись. А висячий замок – какая это преграда?

Были и такие забавы – подленькие подловы: на тротуар подбрасывался кошелек, от него тонкая ниточка тянулась под деревянные ворота, из-под них или сквозь узкую щель между разошедшимися досками наблюдатель следил за тем, как прохожий, радуясь находке, нагнувшись к кошельку, собирается его поднять – а тот прямо из-под его руки отодвигается... прохожий повторяет свою попытку, ничего не понимая. Может, ветром сдуло? Потом всё повторяется – кошелек отползает на несколько сантиметров, и раздосадованный прохожий, наконец, прихлопнув к асфальту, крепко ухватывает находку, ожидая обнаружить деньги. Беда, если, опасаясь снова упустить кошелек, сожмет его в руке – из кошелька выдавливается ему в ладони нечто, о чем и писать-то не хочется...

А из-за ворот раздается хохот – те же, кто как бы безучастно стояли рядом на улице, смеяться опасались, можно было схлопотать по шее от обманутого, а то еще чего покрепче – тогда нередко люди, и даже не криминальные, держали в кармане кастет, свинцовую чушку или раскрытый перочинный нож. Время было такое...

Вот так шутили пацаны... Иные из них уже успели отсидеть. Существовал среди вас настоящий уголовник, отбывший срок в колонии, Мишка-Рыжий – твой сосед по этажу. Он считал себя уркой, да, наверное, и был таким – «блатным», и хотя Рыжему едва исполнилось восемнадцать, когда его выпустили, жила с ним того же возраста «маруха» – кажется, и правда, имя ее было Маруся. Несколькими годами позже он тебе, уже 14-летнему, настойчиво предлагал лечь с ней в постель:

– Ты смолишь?

– Да нет, – отвечал ты ему, – не курю, пока.

– Кореш, да ты что, я другое спрашиваю... (здесь следовал эвфемизм нынешнего «трахаться»). Валяй! – обеспечиваю как другу.

Бог тебя уберег тогда от раннего опыта, да и Мишка, оказалось, не случайно пытался тебя уложить с ней – потом разберайся, кто – чего... Слова «шантаж» вы тогда – ни он, ни ты – не знали, но, наверное, твои родители его знали. Вот бы ты был хорош: он, точно, списал бы на тебя их дитя – чего от него ждать еще-то? – месяцами тремя-четырьмя позже Маруська рожала.

Под его, или его друганов началом ходили вы двор на двор «разбираться», что, бывало, кончалось скверно: пырнут кого-то финкой в живот, и кто-то отсылается в детскую колонию. Наверное, это с подачи Рыжего приезжала к Красным воротам выяснять отношения пацанва из неблизкого Черкизова. А так – Боярский переулок на Хоромный тупик, по-соседски: кого-то отлупили из ваших, мстить шли все. За своих «держали мазу», даже и за тех, над кем в другой день могли бы и сами зло шутить, устроить «тёмную».

* * *

Стрелки движутся – вот они снова возвращают тебя в сороковые – теперь к одному из сильнейших впечатлений той поры. Однажды родители, оставив тебе на неделю некоторую сумму, достаточную для еды, уехали в подмосковный дом отдыха. Теперь ты покупал себе пельмени, сам варил их дома, жарил яичницу, разогревал на плите заготовленные родителями котлеты, кипятил чай, соседи помогали при необходимости по прочим домашним делам и вообще присматривали за тобой.

Да куда там – присмотришь за двенадцатилетним, в общем беспроблемным, но и в меру шпанистым семиклассником! И однажды, столуясь в общепитовском заведении, напротив башенки старого здания НКПС, ты, сев за столик, готовый приступить к трапезе, заметил, как сидящий здесь же, рядом, нестарый и по тем временам прилично одетый мужчина – взял пустую тарелку, крупно нарезал луковицу, покрошил кусок черного хлеба в тарелку, достал из кармана четвертинку, вылил ее целиком в ту же тарелку, сыпанул туда соли и перца, всё размешал и стал оттуда хлебать алюминиевой ложкой. Потом тебе объяснили: это была – «тюря»...

А тогда ты с ужасом, исподтишка, наблюдал за соседом по столику. С ужасом, потому что – вкус водки был тебе уже известен. Совсем недавно, в Виннице, куда ты был отправлен на лето, в гости к родным, тебя выворачивало после «коричневой головки» местного производства, распитой с местными, такими же, как ты, мальцами...

Глава 3

Брегет и другое

А карманные часы фирмы «Мозер» – вспомнишь?

Стрелки совершают еще оборот назад. Годом-другим раньше было вот что. Кажется, шел год 46-й... Страна понемногу восстанавливалась. Уже год, как подписан договор о полной и безоговорочной капитуляции врага – только следы войны еще долго не стираются из людского быта, из памяти – тем более. Глубокие следы.

Вернувшиеся с фронта пытаются найти свое место в непривычной и непонятной им жизни. Не всем и не всегда это удается: рабочие, оторванные от станков, мальчишки, взятые прямо из классов и брошенные на передовую (которая оказалась совсем близко, начинаясь чуть ли не за забором школы), деревенские мужики, едва овладевшие основами грамоты по ликбезовской программе, – все они оказались перед необходимостью приспособиться к совсем новым, не обязательно справедливым обстоятельствам.

Вот трамваи и автобусы развозят по утрам заспанных служащих – небогато, кто в чем, по возможности аккуратно одетых... Вот на продуктовых рынках красномордые перекупщики расхваливают свой товар, аппетитно разложенный на длинных дощатых прилавках, а карточки-то еще не отменены, в магазине – не достанешь, здесь не подступиться – цены!.. Тут же, по периметру базарной площади, деревянные лавки-магазинчики с ширпотребом.

На полках – рулоны мануфактуры, на вешалках – ношенные, но вполне приличные пиджаки-брюки, женские кофточки, обувь. А в соседней палатке всё новое – это доставляется сюда с заработавших «красных треугольников», «большевичек», причем нередко, а может, даже и всегда – это товар «левый», то есть выпущенный там сверх или в обход государственного плана, и, естественно, ни в каких официальных отчетах не значащийся. Сюда же поступает продукция артелей, часто «инвалидных», т. е. трудоустраивающих инвалидов.

Удивительные для советской поры образования – вроде бы государственные учреждения, действующие легально, а на самом деле вполне частные. Это там создавались немереные капиталы, возникало племя «цеховиков», армады подпольных предприятий, выпускавших все, что могло составить дефицит – пластиковые сумочки, грампластинки, записанные на рентгеновской пленке, раскрашенные вручную акварелью открытки с портретами Целиковской, Абрикосова и других кинозвезд тех лет, нескончаемые серии целующихся пар «любим меня, как я тебя», а спустя ещё годы – джинсы с поддельными этикетками известных американских фирм...

В открывшихся комиссионках и скупках – радиолы «телефункен», фотоаппараты «лейка», лаковые куртки и перчатки, немецкие и швейцарские наручные часы, опасные бритвы и инструменты «золинген»... – много, много трофейного товара. Заводы же отчасти пока бездействовали, оставаясь без сырья, без персонала, во многих работали только отдельные цеха. Другие, эвакуированные в глубокий тыл, там и оставались, перейдя на выпуск новой продукции: так, Харьковский тракторный, эвакуированный в Нижний Тагил, выпускал в войну Т-34 («тридцатьчетверки»), знаменитые танки, – там он и остался. А ХТЗ – отстраивался заново. Как и ЗИЛ – только-только возвращался к выпуску грузовых, главным образом, автомобилей – копий американских «студебеккеров», полученных от союзников в войну по ленд-лизу, вдрызг износившихся на российском бездорожье...

Заводам позарез нужны были квалифицированные работники – такими в войну стали женщины, подростки: теперь им пришла пора вернуться в семьи, в школы. Вот и получалось: недавнему солдату, а то и офицеру – ступай в подсобные. Если повезло – в милицеские части, это кого брали: и зарплата, и городская прописка.

А была еще возможность – уголовный мир: сохранившиеся с довоенной поры, возникшие в течение войны и сразу после нее банды, вроде знаменитой «Черной кошки», грозы жителей Москвы и Ленинграда, в первую очередь пополнились за счет массовой демобилизации. Бандитизм расцвел...

* * *

Коснулось это и вашей семьи: твой дед по отцу, живший в Ленинграде, был убит налетчиками. Его не ахти какое наследство было поделено между сыновьями и дочерями: твоему отцу, как старшему, достались массивные карманные часы с курантами. Золотые крышки открывалась одна за другой – их было, кажется, по три с каждой стороны, одни прикрывали механизм

брегета, другие – его циферблат, на котором каллиграфически было выведено таинственное слово «Мозер».

Будучи заведенными, часы проигрывали тонкими колокольчиками довольно сложную мелодию. Завод кончался – и часы умолкали до следующего раза, что происходило, главным образом, по твоей настоятельной просьбе. Насколько сегодня помнится – было это всего-то два или три раза. А однажды отец принес домой открытый механизм брегета – его золотой корпус на глазах отца, как он потом рассказывал, был отделен от механизма, положен в скупке драгметаллов под ручной настольный пресс, и часы перестали существовать.

Куда делся потом этот механизм – ты не знаешь, и спросить давно уже некого. Зато вскоре у мамы появилась шуба из теплой окрашенной в черный цвет цигейки – она прослужила ей потом много холодных московских зим. Ты помнишь эту шубу, уже с потертыми рукавами и проплешинами, а самой коже так ничего и не делалось – наверное, могла бы служить шуба и сегодня где-нибудь на зимней даче.

Прошло полвека – эти часы оказались в твоём рассказе «Брекет». Рассказ получился мистический – не обязательно по воле автора, не знаешь по чьей, так уж написано, но в рассказе часы не просто показывали время и не просто наигрывали мелодию, – но надиктовывали своему хозяину его судьбу, каждый раз возвращая его ко дню приобретения часов.

Другим механизмом, существовавшим и игравшим немалую роль в твоей тогдашней жизни, стал электрический фонарик – это благодаря ему ты, закрывшись с головой одеялом, проглатывал изрядно потрепанные томики романов Майн Рида, Стивенсона, конечно же, «Робинзона Крузо», «Мюнхгаузена» заодно с «Капитаном Врунгелем» – все, что приносили десятилетнему пацану родители или доставалось тебе по обмену от приятелей и соучеников. Почему под одеялом – да потому, что в небольшой комнате, где вы тогда жили, свет к ночи выключался – утром родителям на службу. А тебе-то когда было читать? – не за счет же дворовых дел, которых всегда набиралось предостаточно на послешкольные часы.

Тогда же и пришло твое первое увлечение – Алка, некрасивая сероглазая девочка с пепельными волосами, заплетенными в тугие косички, спадавшие на худые плечики, – она принимала участие во всех мальчишеских играх, включая и футбол. Ты неплохо стоял в воротах – в настоящих, они вели с вашего двора в Боярский переулок и были большей частью закрыты огромными, покрашенными в коричневый цвет створками. Так что вы могли смело бить по ним мячом: лететь ему, даже пропущенному вратарем, дальше все равно было некуда. Играли вы обычно в одни ворота – на две (а бывало и больше) команды. Наверное, твое увлечение возникло тогда, когда после особенно ловко пойманного тобой мяча Алка, она стояла в защите, показала тебе поднятый большой палец – «Молодец!». Ты и потом, бывало, замечал на себе ее внимательный взгляд.

А еще потом тебе довелось «стыкнуться» – так вы называли драку, происходившую не обязательно по-злему: просто, бывало, подойдет один пацан к другому и предлагает – «Стыкнемся?». Отказаться – позор, смываемый только в драке! Уговариваются с секундантами – те всегда готовы: до первой крови, до первой боли и так далее, а завтра – дерутся уже сами секунданты. При этом не всегда побеждал тот, кто сильнее или ловчее.

И вот, когда ты откликнулся на такое предложение, да и как можно было отказаться – Алка стояла где-то неподалеку, – и едва приняв боксерскую позу, ты получил увесистую затрепину, другую, третью: за твоим соперником выстроилась очередь пацанов из соседнего двора, пятеро их было или шестеро, каждый из них считал своим долгом подойти к тебе и хорошенько врезать.

Было не очень больно, но обидно безмерно – Алка же молча наблюдала за происходящей на ее глазах экзекуцией. После этого ты ее сторонился, что не требовало специальных усилий – жила она не в вашем дворе, а как раз там, откуда объявились твои обидчики. Ваших же рядом никого не оказалось: происходило все на нейтральной территории – площадке, отделявшей ваш

дом от тыльной стороны старого метро «Красные ворота» и служившей удобным переходом из Боярского переулка к Кировскому проезду.

Глава 4 После войны

Стрелки движутся – круг, еще круг, еще...

Несколько оборотов, и они возвращают тебя в 45-й. Вот и последний военный салют – победный, особо торжественный голос Левитана, гремющий с «колокольчиков» на столбах с электрО” и телефонными проводами: «...двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами!». Потом – гулянье на Красной площади, как ты туда попал, наверное, с вашими дворовыми, не вспомнить, идти-то и было с полчаса – по Кировскому проезду... через Кировскую же улицу... через площадь Дзержинского мимо «Метрополя», или по узкой улице 25 октября – и ты там! Сейчас и не различишь – что из того празднования сохранилось в твоей памяти, а что вычитано годами позже из свидетельств в нем участвовавших...

Классе в 3-м, кажется, вы близко сдружились с Колькой Мануйловым – худющий, высокий (почему и прозвище ему было «шкилет»), прыщавый парнишка сидел с тобой за одной партой, жил он где-то в Харитоньевском, или на Чаплыгина, недалеко от школы: родители его часто уезжали, надолго – наверное, они были как-то связаны с дипломатической службой, и в их отсутствие вы проводили у него дома немало времени, деля просторное жилище с эрдель-терьером Тоби-ком, флегматичным рыжим существом.

А еще была у них богатая библиотека, и, став постарше, вы помаленьку таскали из нее книги – в букинистический. Изымались из шкафов, главным образом, старые томики, наверняка забытые, как вам казалось, родителями и никому не нужные, в картонных переплетах, обтянутых темной корчнево-серой бумагой. Букинисты же их охотно брали. Уже не вспомнить, на что вы тратили вырученные рубли, но однажды, будучи замечен за этим нехорошим занятием, Колька подвергся порке. А ты был отлучен от их дома – хотя, может, и сам перестал ходить туда, стыдно было...

Вы и в классе шалили вместе. Но и порознь: помнишь, как-то вскочил ты, пока учительница Антонина Михайловна, ваша классная руководительница, отвернулась, стал вращать на шпагатике за ее спиной бронзовую чернильницу – и чернила выплеснулись. Она растерянно оглянулась, приложила листок промокательной бумаги к расплзшемуся пятну, села за стол и, открыв классный журнал, долго, не поднимая головы, молча его рассматривала. Молчал и класс. Тебе и сегодня неловко вспоминать этот эпизод – скорее всего, вязаная кофточка была единственной у наверняка небогатой, если не нищей, учительницы.

А дружили вы с Колькой, пока не разошлись по разным школам: ваша 305-я была начальной – четырехлетней. Располагалась она на внутренней стороне Садового кольца прямо напротив НКПС (Народного комиссариата путей сообщения) – здания конструктивистской архитектуры, увенчанного квадратной башенкой с большими часами, видными издалика. Окончив четвертый, Колька попал в 657-ю, ты – в 313-ю, или наоборот. Однажды, уже отслужив в армии, ты встретил его случайно в метро. Удивительно, но тебе показалось, он совсем мало изменился за прошедшие двадцать лет – бывают такие лица. Вы перебросились несколькими фразами – и все...

Потом появился Мишка Некрасов. Жил он в доме через дорогу от вашего со стороны Боярского переулка. В том же подъезде жил поэт Алексей Недогонов – мало кто это имя сегодня знает. Вообще-то Мишка был Кон, заметно картавил, его родители, как ты сейчас понимаешь, были репрессированы, и воспитывался он в странной семье – Любиньки Некрасо-

вой и Коли, ее брата, живших вместе в состоящей из одной комнаты квартирке. Им было тогда лет под пятьдесят, может, чуть больше, вам же они казались совсем пожилыми.

Двери их квартир – его, такая же однокомнатная, оставшаяся от родителей, – были одна напротив другой, на той же лестничной площадке. Так вот, за Мишкой числились две заслуги, ускорившие твоё взросление (он был старше на год). Первая – всё же в кавычках: он приучил тебя курить, что послужило предметом крупного разговора твоих родителей с Любинькой. «Мы все курим, и Миша курит, а вы со своим разбирайтесь сами!» – примерно таким ты запомнил ее монолог в передаче мамы.

Мама, даже уже и совсем пожилая, смеясь, часто вспоминала этот эпизод, и его «Наше вам с кисточкой!», донесшееся из-за наружной двери, куда Мишка, заявившись к вам в гости как ни в чем не бывало, был ею выставлен после разговора с Любинькой. Курить ты бросил много лет спустя – после бесчисленных, не всегда упорных, не всегда искренних, что говорить, попыток. И непросто же было отказаться от пагубной, но и приятной привычки!

А вторая его заслуга у тебя не вызывает и по сей день сомнения: у Любиньки и Коли была превосходная библиотека, Мишке они привили любовь к поэзии – и вы зачитывались с ним вместе сборниками Есенина довоенного издания. Какие-то стихи ты переписывал в «общую» толстую тетрадку, и с той поры многое удерживается в памяти, чем нередко вызываешь вопросы – как ты это помнишь? А так... Помнишь.

С Мишкой вы всё же как-то пересекались и потом, много-много лет спустя. Он стал строительным прорабом, рано женился, обаятельная Люся родила ему двух ребят – оба белоглазые, а Мишка брюнет, и Люся – тоже брюнетка. Ну и что – бывает. Природа порой и не такое позволяет себе. Ты навестил их на Преображенке, где они жили. Как-то вы случайно узнали друг о друге. Казалось, он совсем не переменился и духовно, и в манерах, а больше вы с ним пока не встретились.

* * *

Поливальные машины медленно, театрально, как на параде, ползли за колоннами пленных, как бы смывая следы, оставляемые ими на улицах города. Время давно стерло это шествие из памяти москвичей. На следующих страницах у тебя будет случай вспомнить эти колонны.

И все же долго еще оставались после немцев выстроенные ими по своим проектам жилые двухэтажки – в такой досталось жить и тебе. Она протянулась во дворе массивной постройки в Измайлове, занявшей почти весь квартал. От угла его начиналась Первомайская улица. Из окон проезжавших по ней автобусов были видны зеленоватая вода заросшего водорослями неухоженного пруда и по другую сторону – лесопарк, ставший впоследствии знаменитым: это здесь разогнали выставку художников, по чьим картинам проехали бульдозерами – отчего потом она так и называлась – «бульдозерная».

За прудом, пройдя через мостик от вашего дома над небольшим протоком со стоячей водой, сразу выходишь к приземистому дому старинной постройки, он протянулся фасадом вдоль Измайловского шоссе. Здесь, в доме – детский садик, куда ты водил сына. Теперь все пространство, разделявшее парк и измайловские улицы, застроено корпусами гостиниц, появился рынок – огромная барахолка. Не та, «самодеятельная», возникшая в девяностых, – блошинный рынок с развалами домашней утвари, порой антикварными, с поделками мастеров-кустарей, акварелями, гравюрами на стендах – их авторы здесь же охотно подписывали проданное...

Потом барахолку закрыли – мешала, наверное, кому-то. Новый, отстроенный рынок вместил в себя множество лотков, магазинчиков с привезенным из дальнего и ближнего зарубежья барахлом – главным образом это одежда, электроника сомнительного происхождения и, соответственно, качества; рынок, вполне подконтрольный неким структурам, может, отчасти и тем же городским, но больше, считают – криминальным.

Но это все потом, а тогда тебе досталась комната, выделенная отцу, чтобы расселить вас – родителей и тебя с Ольгой и родившимся у вас сыном. Естественно, родители остались жить на проспекте Мира – в том же доме потом жил Шукшин. Трехкомнатную же, куда вас отселили, соответственно занимали три семьи. Сосед снизу Витька, пьяница, бил жену Нину, и тогда она запиралась от него у вас. Так вы и жили, пока не переехали в полученную уже тобой квартиру на Красной Пресне. Без Ольги – она к этим дням ушла из жизни...

Глава 5

Анна Семеновна

44-й год, декабрь... Война скоро кончится – об этом уверенно говорят в очереди, что задолго до рассвета выстраивается в Орликовом переулке. Фасад продуктового магазина, когда-то тщательно оштукатуренный, празднично-желтый, теперь весь в сколах, в комьях смерзшихся грязевых брызг, оставшихся с долгой осени. Пытаясь сохранить остатки домашнего тепла, женщины кутаются в платки, бьют себя по бокам, приплясывают – отчего снег под их ногами сбивается в плотную корку, темнеет и становится скользким. Болтаются, постукивают пустыми бутылками авоськи: обещали с утра молоко. Скользят по насту деревянные костыли, много костылей – на них опираются одетые в шинели со следами споротых погон совсем ещё не старые дядьки.

Война скоро кончится. Скоро.

«24-мя артиллерийскими залпами!» – нарочито растягивая слова, совсем как диктор Левитан, вещают в самодельные рупоры – обрезки водосточных труб – пацаны, забравшиеся на припорошенную ночным снегом огромную, занимающую чуть не четверть всего двора, кучу угля. Уголь свален ближе ко входу в подвал – там дворовая котельная. Грубые, хрипловатые мальчишеские голоса победно поднимаются вверх, вдоль стен нашего двора-колодца, составляющего утробу пятиэтажной кирпичной громады.

Дом занимает весь квартал, отделяя собою Кировский проезд от Боярского переулка. Перед ним – гранитная арка станции «Красные ворота»; там, в вестибюле метро, клубится пар, образованный врывающимся в открытые стеклянные двери морозным воздухом. Удивительный пар, не похожий ни на какой другой: возникая, он тут же смешивается с постоянно витающим (только здесь, только в этом метро!) волшебным запахом моего детства – запахом шоколадных ирисок.

* * *

Итак – немцы в Москве. Пленные: по Садовому кольцу движутся колонны. Они сворачивают в Кировский проезд, идут мимо метро. Они нескончаемы – тысячи людей, одетых в зеленоватую форму, едва укрывающую от колючего зимнего ветра. Охраны почти нет – нельзя же считать охраной этих молодых, может, чуть старше нас, ребят с болтающимися за плечами, дулом вниз, совсем не страшными карабинами. Или – открытый газик с лейтенантом, тарахтящий рядом с колонной. Чего же с ними так долго воюют?.. Кто-то из бредущих в колонне безразлично, пустыми глазами смотрит вперед. Кто-то шагает, опустив голову. Другие любопытно озираются по сторонам, на ходу заговаривают с остановившимися прохожими, протягивают самодельные зажигалки и перочинные ножики – в обмен на хлеб.

Хлеб у москвичей уже есть. Появилась на столах (пусть и не у всех, потому что цены пока коммерческие) всякая снедь – рыба, колбасы, сыр.

У нас дома всё это бывает – приносит из «орса» отец. Орс – это «Отдел рабочего снабжения», нечто вроде распределителя для тех, кто сюда «прикреплен» от своего учреждения, не обязательно – завода. И ведь, правда, многие семьи так в войну выжили. А кто-то, прежде

всего, сотрудники «орсов», близкие им – обогатились, сбывая продукты «налево», по благу, через рыночные ларьки. Правда, попавшихся, бывало, расстреливали. Время такое...

Ещё не взяты Будапешт и Прага, и целёхонький, неразрушенный стоит Нюрнберг, и германскую столицу по-настоящему тоже пока не бомбили... Отец снова в Москве, теперь он восстанавливает производство и снова живет в цеху – как тогда, с того дня, когда его вернули сюда из призывного пункта. Вернули и нас в Москву – меня, маму и верную мою няньку Полю, в последние дни 41-го прошедшую с нами в скотской теплушке маршрут Москва – Раевка – Бийск... А теперь – обратно.

Наша квартира понемногу оживает – возвращаются из эвакуации старые жильцы, подселяются новые. Здесь семь комнат. Вернее, семь высоких – их наличники почти упираются в лепной карниз потолка – дубовых дверей. Когда-то сиявшие лаковыми поверхностями искусно подогнанных друг к другу досок, а теперь матовые и тёмные, они усиливают своей странной огромностью постоянный полумрак длинного коридора. Слабые лампочки едва освещают его; электрический свет отражается неяркими бликами на глянце выложенного замысловатыми многоугольниками паркета.

Я и сейчас, спустя много лет, закрыв глаза, вижу отчетливо наш коридор. Он совсем не похож на типичный московский: здесь отсутствуют сундуки в темных углах, и педали велосипедов, подвешенных крюками на уровне глаз, не заставят вас, проходящего, прижаться к противоположной стене. Наш коридор широк и просторен. К тому же он совершенно пуст – даже мой велосипед, собранный из частей и деталей по меньшей мере трех довоенных веломашин, хранится в прихожей квартиры на первом этаже, где живут бабушка с папиной сестрой.

А больше ребят в квартире нет – если не считать совсем маленьких Юрку с Мариной. У них долго еще не будет своего велосипеда – и потому что рано им, и потому, что давно живут без отца. Юрка хотел, чтобы во дворе знали – отец их на фронте пропал без вести. То есть погиб, скорее всего. Он и правда погиб – но в заключении. Тогда же знать нам этого было нельзя.

Квартира когда-то вся принадлежала Семену Ароновичу Кливанскому, видному меньшевику, совершенно невероятным образом не задетому частыми лопастями мясорубки, запущенной четверть века назад его политическими оппонентами. Он и сейчас живет здесь со своей дочерью Бэллой, старой девой, служащей корректором в научном издательстве. А может – редактором. Она почти всегда дома, ее гости часто приносят в охалке толстые портфели и сумки, из которых высовываются лохматыми углами пачки рукописей.

Кливанские – самые редкие гости на кухне. Оба ходят бесшумно, она – кутаясь в длинный махровый халат, он – в полосатой пижаме, накинута на ночную рубашку, склонив блестящую, опушенную венчиком седых волос, лысую голову. Желтые светляки лампочек пробегают по стеклам его пенсне. Оба высокие, носатые, не улыбочивые. За их дверью – всё, что осталось после многократного «уплотнения», как называется подселение к хозяевам квартиры новых жильцов. Разных, но всегда чужих. Год за годом Кливанские отступали, освобождали комнату за комнатой, стаскивая в самую просторную из пока остающихся им всё дорогое и необходимое. Хотя их жилплощадь и теперь велика, там выгорожены целые три комнаты, и все они, по московским меркам, просторны. Причем две – светлые, с окнами на улицу.

У нас одна комната, окно её выходит на черный ход. Поэтому здесь всегда горит свет, даже когда дома нет никого, – так нам кажется лучше. Нашей комнатой, самой дальней от парадного входа в квартиру, завершается коридор. В торце его две узкие, покрашенные масляной краской двери – уборной и ванной с газовой колонкой, фитилёк колонки всегда зажжен. Сбоку – еще одна: сразу за нашей стеной кухня с семью столами и двумя покрытыми рябой эмалью газовыми плитами. И – черный ход.

А за другой нашей стеной, с которой спускается плотный старый ковер, укрывая собою топчан с пружинным матрасом – на нём я сплю – живет Анна Семеновна Шарф. Её комната больше нашей раза в два, высокое окно выходит в сторону двора. Самого двора отсюда не видно – надо далеко высунуться из окна, и только тогда можно заглянуть в этот огромный, кажущийся бездонным колодец. Зато из ее окна видны ряды крыш соседних домов – с нашей стороны дом имеет пять этажей (мы живем на четвертом), а с противоположной – лишь четыре. Вон Козловский переулок, начинающийся клубом Министерства морского флота, куда мы по десятку раз бегаем смотреть «Небесный тихоход», «В степях Украины» и, конечно, «Чапаева»... Вон они – Харитоньевский, Фурманный... И чуть левее, в сторону Садового кольца – Хорманный тупик.

Крыша нашего дома – это отдельная история. Для меня она начиналась поздней зимой 44-го, когда, проникая сюда через чердачные лабиринты, мы собирали с гремящего, крашеного охрой железа осколки зажигательных бомб. Осколки эти можно было выменять на противогазные маски, резина которых совершенно незаменима при изготовлении первоклассных боевых рогаток. Или – на запчасти для самодельных пистолетов-хлопушек: кажется, их называли «мечики», и собирались они из трубочек, бойков, пружинки и каких-то металлических заглушек. О них я, кажется, уже рассказывал.

Вскоре снесли дома по другую сторону Садового кольца – на их месте стали строить высотку. К тому времени у меня появилось увлечение, отчасти переросшее спустя годы в первую профессию, – фотография. Появился и реликтовый фотоаппарат с растягивающейся гармошкой – «мехом», и к нему – металлические кассеты, в которые вставлялись стеклянные пластины. С этим «фотокором» я забирался на крышу нашего дома и снимал все стадии строительства нового здания, до самого его завершения: в это здание вскоре переехал НКПС. Где они сейчас, эти кадры – наверное, там же, где стеклянные негативы из ленинградского «Большого дома», – но о них потом.

* * *

Между прочим, крышей же могла завершиться моя недолгая жизнь – когда однажды, в первую послевоенную зиму, мы затаились там, устроив засаду на лазутчиков с недружественной нам Домниковки. Покидал я ее почему-то последним; часы, проведенные на звенящей от морозного ветра жести, свели мёртвой судорогой кисти обеих рук. Позже, обнаружив себя дома, я едва мог вспомнить, каких усилий стоило мне, десятилетнему пацану, распластанному на скользкой от намерзшего льда и снежной пороши покато́й поверхности, доползти, упираясь локтями, до чердачного люка, чтобы почти замертво свалиться в него...

Вскоре на все входы в чердак навесили тяжелые замки, – наверное, не без настояния моего отца.

На окне у Анны Семеновны плотно, шершавыми глиняными бочками друг к другу прижались горшки с маленькими кактусами. Кактусы – это увлечение Анны Семеновны, у них даже есть свои имена. И мне эти кактусы разрешается поливать. Еще мне дозволено рассматривать сквозь мерцающие темные стекла внутренности шкафов, которые, собственно, составляют стены ее комнаты. Там – книги.

Русских совсем немного – один или два шкафа. Все остальные изданы где-то за границей: вот Данте – множество томов в темных шагреновых переплетах, раскрыв которые можно подолгу рассматривать удивительные сюжеты старинных гравюр. В соседнем шкафу – Сервантес, это испанский шкаф. Вот – Шекспир, разумеется, на английском. Все эти книги Анна Семеновна давно прочла. И продолжает читать... А над ними – рукописное объявление: «Не шарь по полкам жадным взглядом – здесь книги не даются на дом».

Помню очень много немецких книг – Фейхтвангер, Шиллер, Гейне... Их больше всего – не поэтому ли мои родители условились с Анной Семеновной, что она, помимо общепросве-

тительных тем, будет учить меня немецкому?.. И ещё (но это уже за моей спиной) – пытаться исправить мои, скажем так, не отличающиеся особым изяществом манеры, обретенные в целиком захватившем меня теперь общении с красноворотской шпаной. А впрочем – и с Преображенской, и с черкизовской: туда мы нередко «срываемся» на подножках трамваев, идущих от Каланчевки, выяснять наши непростые отношения.

Теперь Анна Семеновна столуется с нами, что позволяет ей исключить из своего быта магазины, а заодно продлить наши занятия до практической проверки усвоенных мною навыков. Как сейчас помню: укоризненно глядя на меня, она перекладывает из «неправильной» руки – в «правильную» нож или возвращает на стоящую рядом тарелку вынутый у меня почти изо рта огромный ломоть хлеба. Ах, Анна Семеновна, Анна Семеновна, – я ведь, правда, и сейчас, прочно забыв всё, чему меня учили в те годы в школе номер 305, на Садовом, я ведь и сейчас помню ваше «Гутен таг, фрау Майер, вас костен ди айер? – Ахт пфениг. – Ахт пфениг?! О фрау Майер, дас ист зер тойер!».

И помню, как, прикрыв ладонью глаза – чуть выпуклые, всегда внимательные и удивительно, совсем не по возрасту живые – как вы задумчиво слушаете стихотворение, которое я сам, сам написал под впечатлением прочитанного томика Лермонтова – в виде редчайшего исключения вы разрешили мне унести его к себе в комнату «...только на один день!».

Эти стихи, кроме вас, Анна Семеновна, не видел никто. Потом я часто ловил на себе её внимательный взгляд, – так смотрят, когда собираются что-то сказать – важное и необходимое. Он смущал меня и тревожил, мне даже казалось, что я могу ощущать его спиной, покидая её комнату...

Несколько лет спустя, когда ей, наверное, уже было далеко за 70, я заметил в ее руках учебник китайского языка. Она стояла у плиты, следя, чтобы из крохотной кастрюльки не выкипело молоко, и посматривала в самоучитель. «Анна Семеновна, – удивился я, – зачем это вам?». Насколько чудовищна мера бестактности подобного опроса, адресованного пожилой женщине, в голову мне, разумеется, не приходило. Ну ведь, правда, – зачем ей? В Китай она, что ли, поедет?

На всю жизнь я запомнил ее ответ. И по сей день я вспоминаю его и даже цитирую – когда есть тому подходящий повод. «Видишь ли, – сказала она, глядя куда-то поверх моей головы, – вот заметь: я всегда опрятно одета, я трижды в день чищу зубы. Я знаю, что буду делать сегодня, и планирую все, что собираюсь сделать на этой неделе. Я живу так, будто знаю, что буду жить вечно». Потом она посмотрела на меня, едва дотянувшись, положила мне, как когда-то, сухонькую, покрытую с тыльной стороны старческими родимыми пятнами ладошку на плечо – что было уже совсем нелегко при ее маленьком росте – и добавила, улыбнувшись: «...Хотя, вообще-то, я готова умереть в любую минуту». И, повернувшись, прошаркала войлочными тапочками по паркету к своей двери.

* * *

...А вскоре меня провожали в армию. Повестки были уже у всех собравшихся сегодня в нашей «главной» комнате и еще в крохотной пристройке к кухне: холодная кладовая всякими правдами и неправдами была отцом превращена в дополнительную жилплощадь, позволявшую мне иметь свою отдельную конуру. Умещались там только топчан (теперь я спал здесь), некое подобие письменного стола, сколоченного «по месту» знакомым плотником, и дощатая табуретка с полукруглой прорезью в сиденье.

Сегодня, на проводах, комнатка служила нам неким буферным пространством, куда втискивались отужинавшие, чтобы присоединиться к нестройному хору, голосившему под аккордеон всё, что в те годы пела молодежь. А пели мы тогда вернувшиеся из долгого забвения студенческие куплеты, вроде этих – «Через тумбу, тумбу – раз...», или еще – совсем уже ста-

ринные «Крамбамбули» – в которых припев подхватывался всеми присутствующими, и непременно в полный голос.

– Соко-о-о-лики... – а-ой-люли... – поддерживали мы поющего. – Давайте пить... – выкрикивал аккордеонист, он же запевала. – Кр-р-рамбам-були! – вопили гости. Между тем, время перевалило за полночь... Перед моими глазами до сих пор, как будто было все это только что, Анна Семеновна, сжавшая виски ладонями: она мечется по коридору, умоляюще глядя на нас.

Эх, мерзавцы мы, бесчувственные мерзавцы – ну хоть бы кому из нас пришло на ум одернуть орущих!

К шести утра на нескольких таксомоторах почти все мы добираемся до районного военкомата – где-то за Чистыми прудами. Здесь нас отделяют от провожающих: теперь уже совершенно другие парни окружают меня – одетые кто в потасканную телогрейку, кто в совершенно немыслимого вида дедовский зипун, вытщенный из дальнего чулана, кто в старое солдатское обмундирование – гимнастерки, хлопчатобумажные галифе и подобную им рвань. Считается (и впоследствии подтверждается полная справедливость этого суждения), что в армейских каптерках, куда вся гражданская одежда будет сложена по меньшей мере на три года, мало что за время службы сохранится. А раз так – чего рядиться-то?

Все навеселе – кто-то еще не отрезвев от проводов, кто-то захмелился уже поутру. Пить продолжают и здесь – пока втихую, потому что вокруг снуют старшины и сержанты-сверхсрочники, должны сопровождать наш состав. И позже, в теплушках – там пьют уже в открытую. В ход идет всё: у меня и сейчас на губах жив вкус тройного одеколona от путешествовавшей из рук в руки алюминиевой кружки, в которую и мне кто-то плеснул теплой водки. Здесь началась другая жизнь – но сегодня не о ней...

Совсем не о ней.

* * *

Вернемся же в нашу квартиру – дней на десять назад. Уже известна дата сбора, мы с родителями наносим прощальные визиты родным, чьи семьи разбросаны по разным, немало отдаленным друг от друга, концам Москвы. И потом, один уже, я объезжаю приятелей. Или – они приезжают ко мне. С соседями мы будем прощаться ближе ко дню моего отбытия. Но вот Анна Семеновна останавливает меня в коридоре и зовёт к себе в комнату.

Она подводит меня к шкафу с русскими книгами, копошится с минуту, пытаюсь раздвинуть плотно прижатые друг к другу толстые их корешки, и осторожно, потягивая то за один уголок, то за другой, вытаскивает оттуда конверт. Отогнув клапан, она бережно вынимает из конверта старую фотографию. Это фотопортрет. Необычный ракурс: камера снимала сбоку и немного сзади, и кажется, что объект этой фотографии совсем рядом и смотрит от нас куда-то вдаль – так, что невольно хочется проследить за его взглядом. Черты лица знакомы... Ну да – это Федор Шалапин.

Правый верхний угол занят надписью, стилистически не вполне совершенной, но весьма выразительной: «Милая Аллочка! Вступая на самостоятельную дорогу в жизненном пути, не всему доверяйся слепо». Дальше следует размашистый росчерк подписи и дата: «24 апр. 913 г. СПб.» Она протягивает портрет. «Знаешь, – говорит она, – мне уже много лет. Ты вот уходишь в армию, а вернешься – меня, может, не будет в живых. Возьми, на память...». Я растерян – не столько щедростью дара, это я смогу оценить лишь годы спустя, – но прямоотой, с которой она вдруг говорит о возможности своей смерти.

«Анна Семеновна, ну как же... три года – не так много, мы с вами, конечно же, увидимся... А кто она – Аллочка, кому подарен портрет?» – «Аллочка – это я, – поджав губы, Анна Семеновна смотрит куда-то в сторону. – Так меня называли». Больше ничего она не ска-

зала. Ничего. А я, балбес, и не пытался выудить из нее хоть какую-то подробность, пусть самую малую, определившую наставительный тон надписи, адресованной ей великим уже в те годы певцом.

Конечно же, не увиделись... Спустя два года, когда мне позволен был десятидневный отпуск и я, убегая от патрулей в подходящем к Москве ленинградском экспрессе (в столице шел первый молодежный фестиваль, солдат-отпускников отлавливали в поездах и отправляли обратно в части) – так вот, когда я добрался до нашей квартиры, её в живых не было уже с полгода.

...Анна Семеновна, как всегда, оказалась права.

Спустя почти двадцать лет я снова уезжал из Москвы, на этот раз навсегда. Позади были месяцы полной неопределенности – формального отказа в выезде не было, но не было и разрешения. Подававшие одновременно со мной прошение на право покинуть страну давно уже были в Израиле или в Италии – на пути в Америку, в Австралию, в Канаду. И кто-то уже был там... Мы же, я и сын, ждали. Тому полгода, как я нигде не работал. Время от времени сын, продолжавший по инерции ходить в школу, подводил меня к стеклянной двери балкона.

– Па, гляди, они опять здесь, – говорил он, кивая на прогуливавшегося по тротуару невдалеке от нашего подъезда человека. Неподалеку стояла «Волга», разумеется, черного цвета. Словом, слежка была демонстративная, совершенно открытая. Напугать, что ли, хотели? Так же демонстративно они оставляли после своих как бы тайных визитов в нашу квартиру сдвинутые с места стулья, на столе – вынутые для просмотра из шкафа книги.

Однажды я по-настоящему испугался – мне показалось, что они унесли хранившийся между книг портрет Шаляпина. Портрет нашелся – и я с облегчением перепрятал его, убрав подальше от любопытных глаз незваных визитеров. Господи, да знали бы они о моем наивном тайничке в туалете – достаточно было лишь чуть сдвинуть оргалитовую плитку в потолке, чтобы прямо на голову свалились сотни фотокопированных книжных страниц.

Думаю – просто пугали. Иначе – жил бы я сейчас в Штатах!

* * *

Прошли еще недели. Всё уже оставалось позади: зловредная «Софья Власьевна» (так на московских кухнях называли советскую власть) пригрозила на прощанье корявым пальцем – о разрешении на выезд мы узнали спустя неделю после того, как срок его истёк – и наконец выездная виза, одна на двоих, была у нас на руках. Теперь времени на подготовку и отъезд получалось чуть больше двух недель – что всё же было достаточным, поскольку вещей на отправку у нас не было. Это если не считать книг, с которыми я не хотел расставаться. Те, что вывозить было не дозволено, я роздал друзьям: и заветный томик самого первого издания Надсона, и вставленные в чужой переплет мемуары вдовы Мандельштама, и берлинскую перепечатку философа Соловьева...

Коробки с книгами удалось довольно скоро пристроить на отправку «медленным» грузом. Шел густой снег, сотрудники грузовой таможни вручили нам, толпящимся в очереди, неуклюжие фанерные лопаты: хотите, чтобы скорее – расчищайте подъезды к складу. Может быть, москвичи-«отъезжанты» 76-го года, если кому-то из них доведется читать эти строки, вспомнят последние числа марта, грузовую таможню на Комсомольской, сугробы снега у входа – и сумасшедшего в сбившейся на затылок нерповой кепке, машущего деревянной лопатой в ритм «Варшавянки»:

– В царство свободы дорогу грудью проложим себе!..

Ау, ребята, этот сумасшедший – я... Не знаю, откуда у нас, тогдашних эмигрантов, бралась отчаянная, безрассудная дурость – ведь известно было, что и с подножки самолета сни-

мали кого-то, почти уже успевшего почувствовать себя за границей... Я пел, отбрасывая лопатой в сторону пушистый, не успевший слежаться в тяжелые пласты свежий снег. Кто-то из шурующих рядом со мною посмеивался, кто-то шарахался в сторону, едва разобрав слова...

Наконец, все таможенные процедуры были (не без помощи дорогой ронсоновской зажигалки – да что за чепуха, это же просто сувенир, берите!) закончены – и ящики с книгами уходят с весов на тележку надежно «смазанного» грузчика: в его же ведении и деревянные ящики, от прочности которых зависит сохранность багажа. Незадолго до этого, взглянув на обложку журнальчика с фривольными фотографиями, забытого среди отправляемых книг, молодой таможенник вскинул брови:

– Это еще что?

– А что такого, я же не привез в страну, я же увожу, – наивно отвечал я.

– О, если бы привез – мы бы не так говорили! – быстро оглядевшись по сторонам, он незаметным движением смахнул журнал со стола куда-то вниз, следом за зажигалкой.

– Конфисковано! – сообщил он мне, ухмыльнувшись, после чего дело, кажется, пошло быстрее.

Но оставались еще фотографии...

У меня, любителя фотодела с мальчишеских лет, скопились многие сотни отпечатков, и, не знаю уж почему, в ящики с книгами их положить не позволили. Отобрав те, что составляли для меня самую дорогую память, я вынул их из альбомов и заложил в толстые конверты. А как быть с портретом Шалаяпина? О его существовании знали сотрудники Бахрушинского музея и всяческими способами пытались выцыганить фотографию для своей экспозиции – тем более, что был портрет уникален: как выяснилось, ни в одной шалаяпинской публикации воспроизведен он не был.

Мне же расставаться с портретом решительно не хотелось – в конце концов, он для меня составлял добрую память о женщине, мягко, но решительно противостоявшей влиянию на десятилетнего пацана страшной улицы послевоенной Москвы. И пусть старания ее были, чего уж скрывать, не всегда успешны, – память о ней становилась с годами дороже и уважительнее. Была – не была, решил я и засунул фотопортрет среди десятка совсем старых, почти дагеротипных фотографий далеких предков, передаваемых «на свободу» моими родными.

«Наши уезжали в начале века – вдруг найдешь там кого-нибудь», – напутствовали они меня. Эти дагеротипы сослужили свою службу – я действительно нашел родных (вернее, они меня – потом, спустя годы, мы вместе рассматривали старые фотографии), и с их же помощью выехал со мною портрет: пограничник в Шереметьеве пролистнул их всею – и бросил в чемодан, считая неинтересным подробное разглядывание.

...Зато все мои фотографии – и те, где я был снят в солдатской форме, и те, на которых было больше двух человек, – остались провожавшим меня друзьям. Ко мне они все попали, но спустя годы. Фотопортрет же, благополучно миновав вместе с нами границы Австрии, Италии и, наконец, Америки, снова занял свое место. И снова не на стене: чернильная надпись на нем стала бледнеть, и я счел за благо оставить его в конверте – том самом, в котором он достался мне десятки лет назад.

Случается, я вдруг забываю – где он, где хранится прощальный подарок Анны Семеновны. Это может произойти со мной в любой час, даже ночью. Где же он? Потом я, конечно, нахожу его и, не вынимая из конверта, перекладываю в новое, как мне кажется, более памятное место...

Иногда же я достаю из конверта фотографию, рассматриваю её – и наступает момент, когда за чертами Шалаяпина, как бы из небытия, проступает передо мною тёмное пространство огромного коридора, из глубины которого медленно, слегка ссутулившись, идет мне навстречу маленькая женщина. На её плечи наброшен широкий, окутывающий всю её фигурку платок, волосы гладко, на пробор, расчесаны, выпуклые глаза внимательно смотрят на меня. Она улы-

бается и, кажется, готовится что-то сказать. Я хочу, я очень хочу узнать – что она говорит мне? Но вот видение исчезает. Подержав какое-то время портрет, я прячу его в конверт и убираю – до другого раза.

Узнаю ли я когда-нибудь – что не успела сказать тебе Анна Семеновна?¹

¹ Рассказ, посвященный этой замечательной женщине, приведен полностью в завершении трилогии.

Часть 2 ...У порога

Глава 1 Под шорох иглы патефона...

Близкая моя приятельница, обладавшая звучным, хоть и не вполне поставленным голосом, охотно пела в нашей компании. Были мы все студенты Московского издательского техникума, потом – институтские сокурсники, сумевшие сохранить прочную взаимную приязнь по сию пору.

Сами горланившие традиционные “Колумб Америку открыл...”, “Через тумбу-тумбу раз...”, но и “Был очень огорчен один усатый тип...” мы охотно слушали Танюшку, а пела она все, что просили собравшиеся, – подолгу и не ломаясь, поскольку очень любила это занятие и даже мечтала о профессиональной певческой карьере.

Просили же мы чаще всего то, что составляло лучшую часть ее репертуара – старые городские романсы, жанр, который власти в те годы помогали широкой публике прочно забыть: во всяком случае, с эстрады, а тем более из радиопрограмм он был тотально вытеснен бравурными Лебедевым-Кумачом с Александровым и братьями Покрассами.

Но жанр как-то сохранялся – главным образом, на старых патефонных пластинках. В Таниной же семье сбереглось еще и немало папок с пожелтевшими нотами – родители ее оба были музыканты высокой культуры, а двоюродный брат после Гнесинского училища и Московской консерватории вырос в известнейшего ныне дирижера Николая Некрасова, чуть позже будет случай назвать его имя снова. Он в свое время научил кого-то из нас брэнчать в меру наших способностей на семиструнке, а Таню – еще и множеству романсов, давно, как мы заметили выше, не исполняемых публично.

А сейчас вспомнилось мне, как в модных темно-синих плащах и элегантных белых шарфиках во главе с будущей знаменитостью выкатывались мы из подъезда, соседствующего с тогдашним филиалом Большого театра на Пушкинской (здесь в крохотной старой квартирке жил один из нас), добирались до скверика у Большого, усаживались с гитарами на ограждающий его низкий парапет ближе к углу, что почти напротив “Метрополя”, клали перед собой велюровые шляпы – они тоже считались атрибутом высокой моды – и, представьте себе, нам подавали! Ну, не столько образовывалось в шляпах мелочи, чтобы доставало, перейдя проспект, осесть на оставшуюся часть вечера в “Метрополе”, да и делали мы все это, конечно же, дурачась... Но все же.

“Дремлют плакучие ивы...”, “Всегда и везде за тобою...”. Вот, записал я эти строчки – и почудилось, что и сейчас мог бы, взяв гитару, припомнить несколько несложных аккордов – слова-то я точно не забыл. Это, между прочим, сорок лет спустя...

Еще запомнил я в ее исполнении новые для тех лет песенки, своим строем и мелодикой очень близкие к городскому романсу. Пела Танюшка “Клены” – и все мы, даже будучи в определенной степени веселости (хотя, честно сказать, пили мы сравнительно немного, и больше по установившейся традиции), не смели подтягивать ей, но только молча слушали, как она, растягивая в нужных местах слова, выводила:

*...И другие влюбленные
Вот под этими кленами
Тоже, может быть, вспомнят*

О нашей любви.

Пела она из Ады Якушевой – еще почти неизвестной, а мы почему-то знали имя поэтессы: “Слушай, на время время позабудь...” Простой, трогательный мотив, простые и бравшие за наши юные души слова. Но вот даже и сейчас, когда среди нынешних исполнителей становится модным выйти на публику с давно, казалось, забытым романсом или даже песней военных лет, ни разу не довелось мне слышать эту песенку.

Кажется, именно от Татьяны годы спустя услышал я “Снег”. Услышал впервые. Не очень умелая гитара задавала вальсовый ритм, низкое Танино сопрано поддерживало его:

*Снег, снег,
Снег, снег,
Снег над палаткой кружится.
Вот и кончается наш
Краткий ночлег...*

Мы не готовили себя в геологи, да и вообще тяги к зимовкам под открытым небом не испытывали – разве что Колька Лавров, мой ближайший друг, душа нашей компании, лучше всех овладевший искусством игры на гитаре, иногда утаскивал чуть ли не силой кого-то из нас на Пахру или Сенеж к пробуравленной проруби ловить подмосковных окуньков “на мормышку”. А этот “Снег”, обойдя десятки казенных и самодеятельных, зовущих “за запахом тайги” песенок тех лет, пришел – и сразу оказался принят чуть ли не за непременную часть ритуала студенческих посиделок.

Знали ли мы тогда автора слов и мелодии? Скорее всего – нет. Да и вряд ли задавались вопросом – кто же это так точно угадал кратчайшее направление к душам нескольких поколений послевоенной молодежи. Вряд ли... Сейчас, когда нам уже по многу лет, с Аликом Городницким мы дружны – а тогда он к нам пришел одним из первых российских бардов – и “Снегом” тоже.

Это потом – как обрушилось: галичевские “Облака”, “Бумажный солдатик” Окуджавы, и вслед им – “Атланты”, “На материк”, “Над Канадой...”:

*...Над Канадой небо синее,
Меж берез дожди косые.
Хоть похоже на Россию,
Только все же не Россия...*

Вот и снова о нём... Мы уже знали, что автор “Снега”, как и перечисленных выше песен – Городницкий. Александр Городницкий, – но не многим больше. Да, признаться, и что нам было за дело – кто он, откуда? Геолог? Путешествует? И хорошо – будет больше песен...

Путешествует... Да, Городницкий путешествовал: в геолого-разведочных экспедициях, в краях, откуда, бывало, группа возвращалась в неполном составе; он плывал – по воде на паруснике “Крузенштерн”, под водой, погружаясь в батискафах чуть ли не в Марианскую бездну. А еще – экспедиции на Памир, дрейф на станции “Северный полюс”... Замечательный человек – с ним мы еще встретимся и подружимся: в жизни – множество раз, а позже и на этих страницах, давно написана глава, полностью ему посвященная.

А тогда... Наступила эра бардов, современных нам авторов слов и музыки, исполняющих свои песни. Песни, потому и названные “авторскими”. Мы собирали уже не только старые пластинки, но и магнитофонные бобины (кассетников еще не было) с записями Кима, Клячкина, Высоцкого. И, конечно, Окуджавы. А когда удавалось, слушали их непосредственно,

чаще всего на учрежденческих и институтских вечерах – такая традиция возникла в годы, названные оттепельными. И при немалом давлении, оказываемом на ее хранителей, продолжилась через десятилетия – справиться с ней власти уже не могли. Кому совсем везло – встречались с бардами дома, у общих друзей или друзей этих друзей.

И еще – появился “журнал с дыркой”, как называли любители студенческой песни “Кругозор”, с вложенной в него гибкой пластинкой (в его создании – немалая заслуга быстро набравшего популярность Юрия Визбора).

* * *

Первой “консерваторией” моих сверстников-приятелей, естественно, был двор нашего дома: там в конце 40-х, сбившись кучкой на площадке черного хода, затаив дыхание слушали мы блатные песенки, привезенные недавно освободившимся из мест не столь отдаленных Мишкой Рыжим. “Таганка”, “Мурка” и “Когда я был мальчишка...” – это из разряда самых безобидных, что мне довелось от него услышать.

В пионерских лагерях нас увлекала другая и, конечно, тоже неофициальная романтика. “Жил один скрипач, молод и горяч, пылкий и порывистый, как ветер...”, “Есть в Батавии маленький порт...” Но, правда, и “Огни притона заманчиво мигали”...

Шли годы, с ними пришло, почти отошло увлечение Вадимом Козиным, Петром Лещенко. Именно – почти. Ну как объяснить, что в памяти живо сохраняется звучание тенора, пробивающегося сквозь шорох патефонной иглы? Будто сейчас слышу я манерно выговариваемые певцом слова: “Завял наш бЭдный сад, осыпались листья... Но я храню ваш образ бер-Эжливо...”

А еще – Марфесси: его “цыганские” пластинки можно было купить у барыг на Коптевском рынке, выменять на того же Лещенко... Правда, связано это было с определенным риском: настоящие пластинки попадались не часто, да и стоили немало, а больше в ходу были отходы рентгеновских лабораторий – плёнки. Укладываешь только что привезенную плёнку поверх настоящей пластинки, опускаешь на нее иглу патефона и слышишь: “Лещенко хотите? Х... вам, а не Лещенко!” И мерзкий смех...

Правда, случиться такое могло только, если ты новичок и не знаешь, у кого берешь товар: постоянные производители записей такого, конечно, не позволяли никогда – их знали меломаны в лицо. Или можно было найти пластинки случайно, как это произошло со мною, в завалах дачного хлама подмосковной “гасиенды” – в Челюскинской жили наши родные...

В те же годы изредка появлялась на эстрадных площадках, главным образом в парках “культуры и отдыха”, Изабелла Юрьева, но мы вполне довольствовались ее граммофонными записями. “Весна не прошла, жасмин еще цвел...” “Камин, гори, огнем охваченный...” Это годилось для поддержания интимной атмосферы при соответствующих обстоятельствах – но не больше.

Зато правдами и неправдами проникал я в какие-то небольшие клубы, где выступал вернувшийся из эмиграции Александр Николаевич Вертинский (о чем – ниже), по многу раз смотрел фильмы ради коротких эпизодов, в которых успел сняться наш новый кумир. С тем же Колькой Лавровым охотились мы за напетыми в таинственных бананово-лимонных Сингапурах дисками, а то и теми же рентгеновскими пленками, из которых извлекалось едва слышимое “Что вы плачете здесь, одинокая глупая деточка...”

* * *

А однажды случилось такое... Наверное, это был 52-й год, ну, может быть, 53-й. Полиграфический техникум занимал трехэтажное строение на углу Петровки и Дмитровского пере-

улка, откуда рукой подать – в одну сторону до ледового пятачка с громким именем «Динамо», и в другую – до улицы Горького, служившей променадом тогдашней молодежи, съезжавшейся сюда – прошвырнуться на «Бродвей» – со всех концов Москвы и Подмосковья.

– Хиляем по Бродвею, – решали мы, срываясь с вечерних занятий. В темно-синих плащах китайского пошива, в темных же шляпах (на шее обязательный легкий белый шарфик-кашне), толстая микропорка подошв – примерно так выглядела униформа стилиг того времени. «Хиляя» мимо заветного Коктейль-холла, что размещался напротив Центрального телеграфа, мы с трудом продирались сквозь толпу крикливых девиц и ребят – «сыров», полу-безумных поклонниц Лемешева или габтовской балерины Лепешинской (их так и называли – лемешихи, лепешихи...).

А «сыры» – это потому, что их главным тусовочным местом был находившийся здесь же фасад магазина «Сыры». Они могли устроить бурю оваций своему кумиру, но могли и сорвать чьё-то исполнение в самый ответственный момент, когда певец забирается на верхнее «до» – свистом, несвоевременной овацией – их, конечно, гоняли контролеры и даже милиция, самых крикливых знали в лицо, билетёры по наущению администрации театра стояли на входе гру-дью, но в зал они как-то всё равно проникали.

Итак, мы – а это были я, Колька Лавров, Толя «Серов» (его настоящая фамилия была иной, но он «сырил» Серова, отсюда кличка) шли по «Бродвею». Пел тогда в Большом Серов, тенор не очень заметный на фоне Козловского, Лемешева, на фоне корифеев вокала Нэллепа, Лисициана, Михайлова Максима Дормидонтовича, Пирогова Александра Степановича – этого «сырили» мы с Лавровым, – потрясающий был бас, к тому же великолепный актер – лучше него я Мельника не помню, лучше его Годунова – не помню. Словом, направлялись мы от исходной точки всегдашнего маршрута – Манежа – вверх, к Пушкинской площади. Там наш «Бродвей» кончался.

Кажется, был с нами и Коля Некрасов, тогда студент Гнесинки, подрабатывавший игрой на домре вечерами в оркестрике Камалдинова перед сеансами в кинотеатрах. Сегодня Николай Николаевич Некрасов – народный артист СССР, заслуженный деятель и так далее... Ну да, это он остановил нас: «Смотрите, чуваки, кто идет!». Мы замерли, как по команде, не сводя глаз с высокой прямой фигуры, одетой схоже с нами – темный плащ, белое кашне, но с обнаженной головой. Идущий нам навстречу опирался на трость, шел, глядя поверх голов, и, кажется, никого не замечая, а может, и правда не замечал – неспешно к нам приближался Александр Вертинский.

Откуда нам было знать, что живет он теперь здесь же, на Горького, 14, и видели его нередко в Елисеевском, куда он заглядывал «...за теплыми калачами, рокфором и ветчиной», вспоминала много лет спустя Марианна, старшая его доченька.

К этому дню я уже имел счастье дважды присутствовать в небольших клубных залах, где допускались его выступления по возвращении из эмиграции (да и узнавал я о них случайно, от кого-то), что по тем временам было верхом либерализма. Правда, потом говорили, и даже писали в мемуарах, что были у Александра Николаевича Вертинского в эмиграции некие «особые заслуги перед оставленной родиной» (ведь неспроста, рассуждали мемуаристы, вернувшийся из эмиграции, три года прожил он в «Метрополе», в номере с роялем). Правы они, нет ли, но исполнитель своих «ариеток» он действительно был гениальный.

Да я, сколько буду жив, не забуду старичков и старушек в старомодных костюмчиках и вечерних платьях, хранившихся, видимо, без употребления десятилетиями в сундуках и комодах. Они заняли здесь, задолго до начала, первые несколько рядов. И не было им дела до причин и подробностей возвращения в страну кумира их молодости... Зал затих, но едва на сцену вышел из боковой кулисы Вертинский, они, как по команде, встали и первыми зааплодировали. Я не уверен, что в тот вечер все в зале знали, кто он – Вертинский, а так, прочли на доске объявлений клуба – и заглянули, вечер свободный, почему бы нет...

К роялю прошел невысокий человек, положил руки на клавиши. Это был он – Брехес, чье имя десятилетиями помещалось на граммофонных дисках, выпущенных зарубежными фирмами (чаще всего к нам попадали пластинки «Супра-фона»), – строкой ниже, сразу под именем певца. Вертинский молча оглядел зал, отвечая на аплодисменты, склонил голову, немного прождав, поднял высоко над головой руки, согнул их в запястьях и речитативом, заметно грассируя, произнес: «Над г-о-о-о-зовым мо-о-о-гом вставала луна... во льду зеленела бутылка вина...».

Да и можно ли забыть такое – старички и старушки с передних рядов дружно достали платочки из ридикюлей, из нагрудных карманов пиджаков, приложили их к глазам и так просидели до последних аккордов: «...Нет, вы ошибаетесь, д-у-уг до-огой – мы жили тогда на планете д-уго-о-о-й!».

И в последний раз слушал я Вертинского в Ленинграде. В клубе офицеров, кажется. Сорвавшись в самоволку из части, где отбывал положенные три года обязательную воинскую повинность, переодевшись у родных, живших на Старом Невском, в гражданское, я мало рисковал наткнуться на кого-нибудь из наших – публика, заполнившая зал, была преимущественно штатская и всё больше пожилая – из сохранившейся части ленинградской интеллигенции, чудом не задетой лопастями сталинской мясорубки. И – войны. Ну как про них пел сегодня Вертинский: “...И давно уж не моден, давно неприличен ваш кротовый жакет с легким запахом амбр...”

Если память меня не подводит, в этот самый вечер, в какой-то момент, Вертинский после второй или третьей песенки вдруг опустился на одно колено и стал шарить ладонью по полу, придерживаясь другой рукой за стойку микрофона. Зал напряженно молчал минуту, другую, занавес затянули, люди, оставаясь на стульях, сначала шепотом, потом уже в полный голос переговаривались в ожидании: что случилось?..

Но вот занавес уполз, снова открыв сцену, раздались вступительные аккорды. “Мат-го-сы мне пели п-го ост-гов...” – грассируя, продолжал Вертинский. Как бы и не было этого неожиданного перерыва. А было вот что, рассказали потом: Вертинский заметил, что из манжеты выпала запонка, вероятно, очень недешевая, и пока ее не нашли, петь он отказывался.

Прошел день или два, в “Вечернем Ленинграде” появилась крохотная заметка: “Скончался артист Александр Николаевич Вертинский...” Ни подписи, ни слова сочувствия родным. Выходит, мне случилось быть на его последнем выступлении. На самом последнем.

Спустя десятки лет популярность Вертинского вернулась в страну – с многократно умноженной силой, в чем недавно я убедился, оказавшись приглашенным на вечер его памяти в Дом журналиста: его “ариетки” исполнял молодой человек, мы с ним только что познакомились в ЦДЛ, откуда и это приглашение. Он старательно грассировал, подражая Вертинскому, что, наверное, было совершенно необязательно – и без того он довольно точно передавал интонации, подслушанные скорее всего в граммофонных записях.

Или на компактных дисках: сегодня их можно приобрести в каждом ларьке, оттого, думаю, и зал в этот вечер был полон. Жаль, не вспомню фамилию молодого человека – он действительно был обаятелен, очень. Хотя бы и тем, что возвращает сегодня россиянам имя замечательного артиста. И всё же – не больше... Странное чувство подсказало мне последнюю фразу: наверное, это ревность к памяти Вертинского – ведь казалось, что только мы, моё поколение, храним старые грамзаписи, знаем, любим его песенки, а стало быть, располагаем правом собственности на память о нем.

* * *

Если уж об армии – как не вспомнить Сашку Остренина, баяниста и песенника, с его “Малышка спит, колышет ветер шторы...”. В недавнем телефонном разговоре со Смеховым – Веня готовился через день участвовать в популярной российской телепередаче, посвященной самодеятельной песне, – я напел ему из набора остренинских песенок полублатную, но допущенную старшиной к неофициальному исполнению в казарме перед вечерним отбоем “Я лежу в окопе тесном узком, прижимая к сердцу автомат, вспоминаю шелковую блузку, бывший урка, а теперь солдат...”.

Веня вопил от восторга на том конце провода: “Я непременно покажу ее Эдику! (Э.Успенскому, ведущему телепередачи “В нашу гавань заходили корабли...” – А.П.). Не знаю, показал ли – передачу я не видел, да и текст послать ему не успел, хоть и обещал. А Остренина встретил я случайно на улице в районе Красной Пресни много лет спустя – в качестве, как он не без некоторого смущения сообщил мне, инструктора тамошнего райкома партии...”

Хотя определенная тяга к общественной деятельности наблюдалась у Сашки и тогда, в армии: самодеятельные концерты, отдушина в солдатских буднях, привлекала всех мало-мальски способных – будь то брэнчание на балалайке или чтение стихов (“художественным” его можно было назвать с большой натяжкой) – ни один из них не обходился без Остренина, он-то их и готовил.

В один из таких концертов я сидел где-то в первых рядах, обернулся к сидевшему на стуле за мной повару, дремучему выходцу из западной украинской деревеньки, и предложил ему, вполне миролюбиво, трепаться с соседями чуть потише.

– Мешаешь же, – шепнул я ему.

– Заткнись, жидовская морда! – прозвучало это негромко, но так, что сидящим неподалеку было слышно. Я и сейчас помню, как, ни секунды не задумываясь, обернувшись, сильным ударом в лицо сшиб его со стула, раздался грохот. В зале повисла тишина, напряженная: видимо, все выжидали реакции сидевшего здесь же командира взвода, старшего лейтенанта Муравьева.

Наверное, он поступил правильно, сделав вид, что ничего не слышал и что вообще ничего не произошло. А ведь десять суток “губы”, может, даже и гарнизонной, мне светило, как пить дать.

Армия, армия... Здесь стоит рассказать об одном из нарядов, гарнизонном, в который мне довелось однажды попасть, – то есть, на дежурство по Ленинградскому гарнизону. Такие наряды набирались из разных воинских частей округа, и существовала так называемая разнарядка для попавших в них: направляли кого – куда. А выбор (конечно, не от нас зависящий, это решало начальство – дежурный офицер по городу) был немал. Патруль по улицам города, например... гарнизонная гауптвахта – тоже не худший вариант... охрана военных объектов, скверно – если зима и если дежурство наружное...

Но и не только военных – так мне досталось однажды дежурство, обстоятельства которого я помню по сей день и когда приходится к месту – непременно о них рассказываю. Сделаю это и сейчас, раз уж вспомнилась армия – из трех лет службы память сохраняет самые яркие эпизоды, вроде этого маленького чуда, когда я не только избежал наказания, но и в лице избитого повара получил источник дополнительных порций в обеды, очень он зауважал меня после того случая – раб, он и в армии раб, вдвойне.

Так вот, в один из гарнизонных нарядов досталось мне ночное дежурство в коридоре «Большого дома», кто не знает – так называли Ленинградское управление КГБ: из его окон, говорили, Сибирь видна... Четыре часа дежурства тянулись томительно долго: длинный коридор

двор заперт с двух сторон, вдоль него опечатанные наклеенными лоскутами бумаги с гербовыми печатями двери, иные – и с навесными замками, не заглянешь, да и зачем бы...

Прихваченная городская газетка прочлась быстро, ничего другого с собой не оказалось – только и была в кармане шинели записная книжница, куда я время от времени заносил мысли, казавшиеся мне важными. Так и сейчас... Мыслей стоящих сегодня оказалось не густо... Совсем не густо, зато спать хотелось, как и положено ночью молодому и здоровому младшему сержанту советской армии.

И хорошо, что иного не оставалось, как только курсировать по коридору вперед-назад... вперед-назад: сто метров туда, сто – в обратную сторону... Я и не вспомню сейчас, чем привлекли мое внимание сваленные перед одной из дверей картонные коробки – было их там две или три. Их крышки не были плотно закрыты – так, верхние сторонки были небрежно зацеплены одна за другую. Мусор не успели выбросить, подумалось патрульному, он и зацепил носком сапога крышку одной из коробок.

В неярком свете дежурных ламп блеснули стеклянные пластины – негативы, такие, какие я, подросток, проявлял в пластмассовых кюветах, осваивая допотопный «фотокор». Я взял лежавший сверху, поднес его ближе к свету и стал разбирать текст, плотно занимавший всю пластину.

– Почему, почему я не заметил эти коробки хотя бы часом раньше! – корил себя я потом многие годы, да и сейчас корю. И вы поймете, почему. Приведу по памяти содержание тех нескольких пластин, что я успел прочесть.

«Коммиссару государственной безопасности (следовала фамилия). Рапорт. 14 ноября 1942 года на Пискаревском рынке гражданин Чуркин В.В., проживающий по адресу (такому-то), распространял слухи о поджоге продовольственных складов города и о предстоящем голоде, чем сеял панические настроения среди присутствующих граждан. Гражданин Чуркин В.В. задержан по моему предложению и препровожден дежурным милиционером в районное отделение милиции, где содержится в настоящее время до получения указаний». Далее следовала подпись: „оперуполномоченный, старший сержант госбезопасности, скажем, Пупкин П.П.”

Другие негативы в этой и в соседних коробках содержали рапорты того же Пупкина о подслушанных им разговорах на трамвайной остановке, в очереди в булочную, у колонок, откуда граждане осажденного города добывали воду...

«Скоро в город войдут немцы... – вел провокационные разговоры гражданин... он задержан....». Подписи, читавшиеся на этих стекляшках, были того же Пупкина. Лейтенанта Пупкина... Старшего лейтенанта Пупкина...

И дальше оказались – рапорты, обращенные к капитану госбезопасности Пупкину... майору госбезопасности Пупкину... Нетрудно сегодня предположить, где те граждане, на кого стучал товарищ Пупкин, на кого ему стучали. Хотя, кто знает, что стало потом с самим Пупкиным – с ними ведь всякое случалось. Только я сегодня не об этом. Даже совсем не об этом. Просто вспомнилась армия.

* * *

Приносил нам в казарму какие-то песенки (хотя чаще стихи) из увольнительных двадцатилетний поэт Сережка Артамонов – нас одновременно загребли в армию из Москвы, везли в Ленинград в одной армейской теплушке, здесь мы с ним сошлись и подружились на последующие годы. Стихи его тех лет выдавали незаурядный поэтический дар автора и поражали зрелым мастерством. Из запомнившегося вот фрагмент из нескольких строк – о парнишке, он умирает, у него чахотка:

*...На улице мокро, зонты и тучи,
Скажите, доктор, мне будет лучше?
Мне только девятнадцать,
Я хочу жить...
Скажите, доктор —
Двадцать мне никогда не будет?*

Из чужого же, помню, приносил он охальные двустушия – эпиграммы, вроде таких: “Я не лягу под стилиягу”, “Молодому поэту: писал про нежность, а сам – промежность”, “Стыдливой девушке: она, краснея от стыда, шептала – милый, не туда...” ну и так далее. Или, вот еще вспомнилось: “Она была бледна ужасно, когда шагала под венец – она была на всё согласна, и даже на худой конец...” Демобилизовался и Артамонов. Его и по сей день помнят в московском литературном мире, главным образом по службам в журнальных редакциях.

Спустя десятилетия мне повезло найти его в Париже – Сережка когда-то намекал, что состоит в далеком родстве с Инессой Арманд (не отсюда ли русское “Артамонов?”). Вот и Париж, наяву, взаправду. А стихов он давно не пишет, как-то неохотно, отвечая мне, заметил Сергей. Теперь он режет по дереву, и из-под его резца выходят удивительные иконы – о чем не так давно была пространная иллюстрированная публикация в московском “Огоньке”.

Вот такое получилось отступление. Память – она как ловушка, попал в неё – и выкарабкаешься, пока не отпустит...

* * *

Мы не просто любили музыку... Эти слова ты услышал десятилетия спустя от замечательного музыканта, с кем и не чаял встретиться когда-либо... да еще у себя дома, за тысячи верст... или миль... или километров от родных мест – как кому нравится, а пока – пока вот что.

Москвичи твоего поколения – и не только они, должно быть, помнят этот ледовый пятак, затесавшийся меж жилыми кварталами самого центра города – на Петровке, неподалеку от Столешникова переулка. На беговых коньках сюда не пускали – не та площадь. Зато на сточенных под фигурные коньки “гагах” (“канады”, больше подходившие для самостоятельных пируэтов, которыми славились московские пацаны той поры, были далеко не у многих), на этих самоделках – сколько угодно! Вы и пропадали на вашем пятачке многие часы – нередко за счет занятий в учебном заведении, расположенном совсем неподалеку, в Дмитровском переулке.

Но не только близость ко льду привлекала вас сюда. В те годы любая ритмичная музыка, напоминавшая джазовую, а тем более настоящие синкопы, звучащие с заезженных до почти полной их неслышимости пластинок предвоенной поры или привезенных из-за границы и чудом попавших в ваши руки, были для вас притягательны: они как бы приобщали слушателя к особому клану посвященных в это великое таинство – трепетное поклонение джазу.

Повторим все же: что никак не мешало вам занимать с ночи очередь у касс Большого театра, когда там выбрасывались билеты на будущую декаду – чтобы в десятый раз попасть, скажем, на “Русалку” или “Годунова” – если в них, скажем, пел Александр Степанович Пиров.

* * *

Так вот, этот крохотный, по московским понятиям, каток, носивший по каким-то причинам громкое название “Динамо” (кажется, он принадлежал этому спортивному обществу), особо привлекательным был для вас оттого, что там звучала настоящая джазовая музыка. Пусть

чаще всего советская – Цфасмана или оркестра Утесова, но со всеми атрибутами настоящего джаза – не самого последнего в ранжире всемирно известных исполнителей. Да, это был джаз!

А уж когда доставалось попасть на заграничный фильм – песенки из него немедленно становились вашими шлягерами, естественно, и со словами, придуманными кем-то из ваших же. И почему-то чаще с непристойным смыслом. Ну вот, «Чаттануга Чуча» из «Серенады Солнечной долины» – откуда вам было знать, что там было у Гленна Миллера, зато вы пели: «А на полу сидела муха, а муха та была баруха...». И поскольку вы только и могли различить слово «чуча», то и получалось: «О бэби-бой, обополая кобыла, о бэби-бой, двоякодышащая лошадь, о бэби-бой, у вас торчит из... чуча». Вспоминать неловко, но ведь было. Было!

И, конечно, сленг «лабухов», джазовых музыкантов: «лабать» – играть на саксофоне, на любом духовом инструменте, на барабане, «кочумай» означало «перестань», нотосочетание «до-ре-ми-до-ре-до» – «а пошел ты на...», «сур-лять» – пойти до ветру, деликатно выражаясь. Ну и так далее... Пользоваться им означало чувствовать себя приобщенным к особо почитаемой касте.

С начала пятидесятых к упомянутым выше именам советских титанов прибавилось еще одно – Олег Лундстрем. Знали вы про Лундстрема совсем немного, и потому вокруг имени его ходили легенды: кто-то говорил, что он освободился из тюремного заключения, чем удивить в те годы было трудно, и потому вы верили в такую возможность... Кто-то утверждал, что он вернулся из-за границы, где выполнял некую важную государственную миссию...

Как бы то ни было, но оказаться в саду Баумана, например, в день, когда выступал этот коллектив, считалось большой удачей. А вот над катком “Динамо” джазовые мелодии, не объявляемые дикторами, но просто несущиеся из подвешенных над раздевалками и по бортам площадки “колокольчиков”, слышались почти всегда, что в особой степени способствовало популярности сего замечательного места. И многие из этих мелодий были записаны в исполнении джаза Олега Лундстрема. В общем, тебе было что вспомнить из лет, составивших начало 50-х, когда он оказался у тебя дома, и об этом ты расскажешь после – в главе, посвященной той встрече.

Но ведь этой встречи могло бы не быть, как ничего для тебя не было бы вообще после марта 53-го. Тебя бы не было...

Все занятия остановлены, уроки отменены на ближайшие день-два. На сколько? – никто точно не знает. У преподавателей мокрые глаза, кто-то, не сдерживая рыданий, шепчет: “Что же теперь будет... с нами, со страной...». Студенты притихли, обсуждая вполголоса – что дальше делать?

Кинотеатры – закрыты, каток, наверное, тоже. Репродукторы не выключаются во всём городе, из них доносится медленно и торжественно выговариваемое Левитаном: «Прощание народа с товарищем Сталиным Иосифом Виссарионовичем состоится в Колонном зале Дома Союзов...». И ещё – вместо него, кто будет?

Это совсем рядом, половина квартала – и вы на Пушкинской. Идем? Пошли – дошли до пересечения Дмитровского с Пушкинской улицей – стоп! Здесь только что появились конные милиционеры, они перегородили перекресток. Всё – дальше не пройти. За ними сразу же, на ваших глазах, образуется второй заслон – грузовые автомобили с военными. Ну, решишь вы получасом раньше – уже стояли бы в очереди одними из первых – а теперь она протянулась куда-то к площади, к бульварному кольцу, хвоста ее уже и вовсе не видно.

– Пацаны – в обход!

Идём, только куда? Назад, по Дмитровскому к Петровке, там можно проходными дворами выйти обратно, на Пушкинскую. Нет, уже – не можно: все ворота плотно закрыты, их охраняют патрульные солдаты, милиция – где как. Закрыты и двери подъездов: квартирами

можно было бы, через черный ход, попасть во двор, дальше проще. Уже – нельзя. Вы поднимаетесь по Петровке к бульварам – может, пройдем через площадь?

Поздно – перекрыты все подходы к Пушкинской. Остается идти вдоль бульваров, чтобы потом свернуть где-нибудь в сторону Садового, а там – прорваться к Пушкинской, пристроиться к очереди, конец которой теперь вообще неизвестно где. Так вы доходите до Трубной площади. Продолжать?

Вот тут и происходит чудо: вам удается выбраться оттуда живыми – через чьи-то квартиры, по высокой каменной стене, к ней вы оказались прижаты обезумевшими людьми. Кто-то из-под ног напиральной толпы воет нечеловеческим, последним, предсмертным воем. Кто-то хрипит рядом с вами, распластанный вдоль стены – этот кто-то мог оказаться тобой.

И не брэнчать бы тебе под гитарку «Шеф отдал приказ – лететь в Кейптаун, говорят, что там зеленый мавр...». Мелодия, известная вам как «Танго журналистов», вскоре получила новый вариант слов: «Приди ко мне, моя чува, тебя люблю я – за твои трудодни дай поцелую...». И не твистовать с девчонками под «Чаттанугу-чу-чу»... Всё – об этом хватит.

Глава 2

Там, на Якиманке

...Да, там ты впервые услышал Евтушенко, читающего свои стихи. Москва, Якиманка (тогда улица Димитрова), Литературный музей. Кажется, шел 58-й...

А спустя четыре полных десятилетия вы сидели с ним за тысячи верст от Якиманки и вообще от России.

– Помнишь?

Ты придвинул магнитофон ближе к сидящему напротив, по другую сторону журнального столика, Евтушенко – так запись будет надежнее, он же, обращаясь к тебе, неторопливо рассказывал:

– Вот ты присутствовал на том выступлении и знаешь, что оно действительно было первым, когда я, молодой поэт, впервые за все послевоенные годы был допущен выступить перед публикой. А сейчас расскажу одну вещь, которую ты не мог знать. Там, по Якиманке, проходила правительственная трасса. И много лет спустя, на Кубе, Микоян рассказал мне, как он впервые услышал мое имя.

Обычно он ездил по Димитрова. Мимо Литературного музея правительственная машина всегда проезжала нормально, без препятствий, а впереди шла машина с охраной. И вот вдруг Микоян увидел толпу, перегородившую неширокую улицу. Машина затормозила.

– Что это? – спросил он. – Что здесь происходит?

– Как – что?! – ответили ему. – Евтушенко!

– Я, – говорит Микоян, – сначала не понял, я даже не сообразил, что это фамилия.

– Ну, и что это такое? – переспросил у стоящих неподалеку.

– Поэт! – ответили мне громко и с презрением, даже узнав меня. И после этого я запомнил ваше имя, – досказал Микоян.

– Это было мое первое публичное выступление, – продолжал Евтушенко. – А дело в том, что тогда не было индивидуальных выступлений поэтов: они выступали только коллективно – за исключением юбилеев. Зал в Литмузее был очень маленький, и его чуть ли не разнесли. У меня сохранилась фотография, сделанная с улицы: в окнах стоят люди.

– Да, – вспоминал ты, – я был одним из них – у окон. Меня протащил на этот вечер Володя Киришон, наш общий приятель. Помню все в деталях: стоит пижонистый Евтушенко – белая рубашка, черный галстук, шарфик, по-моему, какой-то светлый на шее: ты объяснил, что простужен... Зал был забит, на улице собралась толпа не сумевших попасть внутрь. И ты, раздвинув нас, подошел к окну и стал читать тем, кто оставался на улице. Я все это так отчетливо

помню... Когда мы подходили к зданию, я подумал: «Быть и нам на улице». Киршон говорит: «Мы сейчас пройдем!» – «Как это?» – засомневался я. – «А вот пройдем!». И мы действительно прошли – спасибо брату Киршона, Юре, с которым ты, помнится, близко дружил.

– Потом, много лет спустя, – вспоминал Евтушенко, – Володя работал у меня заместителем директора картины... А тогда... Дело все в том, что тогда тиражи книг были катастрофически маленькими. Сейчас мало кто может себе представить, что, например, книги Пастернака и Мартынова, изданные тиражами 3 или 5 тысяч экземпляров, лежали спокойно на прилавках – их везде можно было купить. Не было массового интереса к поэзии... А потом он вдруг хлынул. Люди переписывали стихи в тетрадки, солдаты не раскуривали на самокрутки газетные листы со стихами.

* * *

В редакции «Литературки» – она давно переехала с Цветного бульвара (для своих – с «Трубы», потому что рядом Трубная площадь) в район Сретенки – ты бываешь, приезжая в Москву. Правда, теперь – реже.

Написал «Цветной бульвар» – и вспомнилось многоэтажное здание редакции, солидные кабинеты руководства (куда тебе не случалось попадать), но зато и зал, где происходили читательские или клубные встречи с литераторами – память об этих встречах до сих пор в тебе живет. Да и фотографии отчасти сохранились – спасибо твоему увлечению.

Вот жестикулирует со сцены Василий Захарченко: «У меня замечательная профессия – я путешественник!». Африка... Канада... Новая Зеландия... Еще бы – редактор популярного журнала, свой человек в Отделе пропаганды ЦК. Ну и так далее... И в другой день – недавно выпущенный из лагерей Алдан Семенов. Этот вспоминает другое. «Прохожу я мимо помойки, кто-то роется в объедках, хотя какие там объедки – в лагере? Подошел ближе, гляжу – Киршон...». Владимир Киршон, отец моего приятеля Володьки Киршона, успешный советский автор (помните «Чудесный сплав», например?), – из лагеря он не вернулся. А в другой вечер читает свое Леонид Мартынов, с замечательным, с необыкновенным умением, позволявшим вроде бы совсем обыденным словам, поставленным в его строфе рядом, вдруг зазвучать сочно и особенно: «Вода благоволила литься... Она блистала столь чиста...». Кто-то про него, помнится, выразился: «Мартынов пишет, будто берет каждое слово острием иглки...».

А еще литературные семинары, которые вела рано ушедшая из жизни молодая поэтесса Ирина Озерова.

И уж совсем отдельное – посиделки в пивном баре, в подвале Дома журналиста на Суворовском бульваре с ребятами из редакции: какой там был замечательный треп и какие подсолненные ржаные сухарики, подаваемые к пиву, какие раки! Нет уже многих из твоих тогдашних приятелей, как, впрочем, нет и того бара – а есть теперь новое, подвальное же заведение, пристроенное к фасаду дома, где открытым, недорого по нынешним московским ценам шведским столом предлагают скверно приготовленные суши или что-то похожее, и еще какую-то, в общем, съедобную, чепуху.

Но и дом на Цветном бульваре уже не тот. Здание занято множеством контор, среди которых есть и издательские. В один из приездов тебя завел туда Арканов – его приятель Виктор издает группу газет очень успешных и очень желтых: бизнес один из самых востребованных в сегодняшней России, но сейчас не об этом. Хотя и об этом – тоже...

А тогда... Ты сидишь с Игиным за столиком у стены, разрисованной и исписанной грифелями: здесь завсегда оставляли о себе память двестишестидесятыми, шаржами, думали – навсегда. Какой там – навсегда... Художник рассказывает о Светлове, они тесно дружили. Потом (вы оба в легком подпитии) ты провожаешь его до Кировской, кажется, там живет его дочь,

Игин в давно не новом демисезонном пальто, в валенках, поверх них – галоши. Таким ты его запомнил.

* * *

Офисы Виктора занимают здесь полный этаж, но, кажется, отчасти помещаются и на других этажах тоже. Экскурсия грозила затянуться.

Смертельно хотелось есть. «Все, – шепнул я Арканову, – если Виктор не с нами, едем, ему передашь мой привет». Оказалось – с нами, и спустя полчаса мы втроем сидели за столиком, отгороженным от соседних аквариумами с живыми рыбами, и с какими! Прямо за мной лениво шевелила плавниками черная пятнистая рыбина: мурена – догадался я. Сидеть к этой зловещей твари спиной стало как-то неудобно.

– А можно ее зажарить? – обратился я к прислуживающему нам молодцу, одетому в адмиральскую, что ли, форму.

– Отчего, можно... если не шутите.

Конечно, я шутил, и он это знал тоже. Краем глаза я следил за Виктором – после аперитива он стал заметно развязнее, пробежав глазами меню, заказал десяток блюд, не глядя на цены. «Лихо», – отметил я про себя: здесь нет блюда дешевле 50 долларов (это в тех случаях, когда цена проставлена. А чаще – она просто не была указана).

– Дешевле сотни ничего там нет, – шепнул мне Арканов, когда мы, изрядно навеселе, покинули «Крабхауз», выйдя на Горького. И я вспомнил: именно здесь, на втором этаже, размещался «Коктейль холл» – почти напротив места, где мне случилось впервые увидеть вживе Александра Николаевича Вертинского... Джип Виктора укатил в сторону Пушкинской, а мы с Аркановым не спеша прогуливались по «Бродвею» еще с полчаса. Потом и мы разошлись по домам...

Глава 3

Авторханов и другие

Переделкино, май 2002-го. Домик-музей Булата. Совсем недавно дача, наконец-то, стараниями вдовы поэта Ольги и, конечно, не только ее, получила статус музея – государственного. Это может означать какие-то новые средства.

Но может и не означать...

А пока все держится на доброхотах. Сохранить бы домик, не дать ему разрушиться, сберечь бесценные экспонаты. Нет у них другой выгоды...

Сберечь теперь, когда Булата не стало... Их совсем немного, имена их не всегда на слуху. Вот – Ришина. Ирина – многолетний куратор домика-дачи Булата, места, где ему писалось, где его навещали счастливчики, те, кому это было можно. Здесь остается все, как при нем, – будто никогда он не покидал Переделкина, не покидал нас, чья жизнь необратимо обеднена уходом Булата.

Вот комната, пройти по ней и не задеть колокольчики, свисающие с книжных полок, с оконного карниза... Булат любил колокольчики, сам подвешивал их к потолку, к лампе... их собралась коллекция, одна только она – уже музейный экспонат – сотня, две, три экспонатов, их присылали отовсюду. Сначала Булат привозил из поездок, потом их стали слать со всех концов страны, из других стран, отовсюду. Булат по сей день почитаем. И даже – больше.

Прийти сюда – это как вернуться в “тогда” в прошедшее.

И кажется, будто Булат вот-вот скажет “Ну, пока...” Рыбакову, живущему совсем неподалеку и составляющему Булату компанию в его прогулках по переделкинским улочкам-аллеикам. Нет – “жившему”, “составлявшему”, потому что Рыбакова тоже не первый год нет. Булат

открывает калитку, рука его прощальным жестом приподнимается, он боком проходит за ограду дачи и, не торопясь, поднимается по невысокому крыльцу, входит в домик.

Вот Булат протянет руку к выключателю: в крохотной прихожей, справа, всегда распахнутая дверь в кухню, зажжется неяркая лампа в абажуре над столом в гостиной. Она же – столовая, она же – приемная, когда Булата навещали коллеги, друзья, просто книжные люди. И последняя комнатка – это та самая, с колокольчиками. Однажды она тебя здорово выручила: вы с Ольгой приехали в Передел-кино, а правильнее сказать – она тебя привезла, ты за день до того жестоко отравился, и это уже отдельная история, а в тот день вел встречу Евтушенко, у тебя едва хватило сил кивнуть ему с порога и дойти до комнаты с колокольчиками. Здесь на узкой спартанской тахте ты в полудреме провел несколько часов...

В общем, и по сей день все здесь так, как было, когда здесь жил Булат. Только появившаяся в последнюю очередь постройка – бывший сарай – существенно преобразилась, стала двухэтажной. Теперь здесь – служебные помещения: крохотный коридорчик, две комнаты, слева и справа – в них едва умещается по письменному столу – и задняя – “зал”, где могут собраться человек двадцать, двадцать пять от силы, столько здесь стульев.

Здесь происходят “камерные” встречи: на твоей только памяти здесь выступали поэты – Евтушенко, Городницкий, Вознесенский, Соколов, Ахмадулина, выступал сын Пастернака. Выступал Вячеслав Иванов и, конечно, “метрополиты” – Аксенов, Гладилин, Попов Женя, Ерофеев Виктор, разве всех назовешь! Встречи здесь – каждую неделю по выходным. Неловко тебе упоминать себя в этом ряду – но случилось побывать здесь и тебе “докладчиком”. А теперь – уже дважды...

И еще, позади дома выстроили помост-эстраду: здесь поют под гитару, свое и Булата, здесь читают стихи. И тогда скамьи и стулья, занимающие остаток территории дачи, едва вмещают пришедших, приехавших. Здесь остаются, даже если погода гонит в дом, под крышу: есть же зонты, плащи. И все остаются. Не пустует в такие дни и дощатый просторный стол – он рядом со скамьями. Чаепития с баранками – это тоже здесь традиция. Бывают пития и не только чая – правда, только по очень специальным датам.

Сегодня – как раз okazия специальная: Булату на его Арбате установлен памятник. К тебе подходит Юра Щекочихин, он уже не просто корифей разоблачительной журналистики, он депутат Государственной думы. “Узнаешь?” – Щекочихин подводит к тебе мужчину примерно наших лет. Ты всматриваешься в лицо, нет – все же незнакомца. – “Да Жаворонков я, Жаворонков!” – “Генка!” Вот ведь как: теперь Генка – журналист “Общей газеты” и очень ценим Егором Яковлевым. Дальше происходит такой диалог:

– Руфина не доложила!

Ты вспоминаешь: Руфина была начальником службы, куда тебе удалось пристроить Жаворонкова.

– Чего – не доложила?

– Да одной фотобумаги не досчитались тогда коробок двадцать, а то и больше. Она же могла нас всех засадить! Ты что, забыл, сколько мы размножили одного только Авторханова. А Володьку Парийского взяли вскоре после твоего отъезда.

* * *

Ты был знаком с Авторхановым. Но уже много лет спустя. Теперь правильно было бы сказать – имел привилегию быть с ним знакомым. Сначала заочно – через томики его “Технологии власти” отпечатанные на тончайшей бумаге “тамиздатом” – эти посевовские издания ты встретил многие годы спустя уже в эмиграции. В Италии, потом здесь, в Штатах... И не только в магазинах, не только в каталогах книготорговцев, но и предлагаемые бесплатно бла-

готворительными организациями, как-то связанными здесь с потоком людей, устремленным при первой возможности из Советского Союза на Запад.

Ты хорошо помнишь: недавние граждане СССР, теперь эмигранты, с неподдельным ужасом, внедренным в сознание опытом всей их предшествующей жизни и вывезенным с собою, – здесь, в Америке! – отталкивали от себя эти книжки. Страшно!.. Могут взять!..

А тогда, на исходе шестидесятых, вы как-то умудрялись, обернув в газетные листки, читать их в городском автобусе, не всегда даже понимая, сколь чудовищен риск, которому вы подвергали себя, друзей, давших на несколько часов эти томики, или тех, кто ждал их к вечеру того же дня – желательно в умноженном уже количестве за счет отснятой фотопленки или бумажных копий.

Но не только. Несовершенны были те ксероксы, едва попавшие в российские учреждения и находившиеся под самым бдительным надзором спецотделов. Солженицын, Бажанов, братья Солоневичи – все это пришло к вам потом... Кто-то из твоих друзей тех лет наверняка прочтет эти строки и вспомнит вместе с тобой странички вашей жизни, которые ты перелистываешь сегодня.

Спустя годы ты, сам не веря себе, знакомился с Авторхановым – уже по-настоящему – здесь, в Лос-Анджелесе. Готовились его встречи с читателями газеты, кто-то из них мог знать имя гостя только понаслышке, и уж никак не были знакомы с его книгами – да и как могли бы? Это понятно.

И вот теперь ты проводил с ним многие часы, возил гостя по городу, сидел в застольях у общих друзей – это были преимущественно живущие в Калифорнии представители немодной теперь национальности – чеченцы, как и сам он. Все эти дни тебя не оставляло ощущение, что ты соприкасаешься с самой Историей.

А впрочем, так оно и было...

Глава 4

Кажется, разгоняют...

Калифорния, год 2004. Которую неделю ты собирался поставить объявление в газету, и наконец... Всего несколько строчек: просьба позвонить – обращенная, если не к нему самому, то к знающим новый телефон Кагана. Михаила Евсеевича Кагана – недавно его номер сменился. Как его найти? Когда ты составлял текст объявления и когда передал его в газету для публикации, Каган был жив.

Газета вышла именно в тот день, когда его не стало. О кончине Кагана тебе сообщила его знакомая на другой день. Один день, всего один день... И вот – обширный инфаркт.

Самое время вспомнить 1964-й. Стрелки на часах – оборот за оборотом... оборот за оборотом... Их снова не видно. А видно вот что.

Институтский ромбик, приложенный к диплому, – итог шести лет занятий вечерами. Где они, эти вечера? – да там они, вместе с твоей молодостью остались на Садово-Спасской в обветшалом особняке института. Остались там и дни на политиздатовских фотоучастках. Отслужившего в армии, тебя туда взяли, а так бы – вряд ли. Госполитиздат же! Сохранились в памяти колбы со спиртом-ректификатом, в каких-то случаях спирт был необходим по производственным обстоятельствам. Производственным? Сами понимаете. Инженер-лаборант Бельченко с хитрым видом сообщал – скоро зайду. Разумеется, не с пустыми руками. Закуска – за нами... Ждём, Володя, очень ждём!

А Вася Гучков, один из лучших фотографов, не закусывал. Его огромный двухкомнатный аппарат обеспечивал высочайшее качество репродукции портретов вождей. После Васи ретушерам делать было нечего. Хотя, конечно – было: там родинку убрать, там ус подправить...

Но оптика должна содержаться в идеальной чистоте, иначе – как обеспечить качество? Вася – обеспечивал.

Однажды решили добавлять в его колбы со спиртом нашатырный. Понятно зачем – кто такую гадость возьмет в рот. Несколько дней Гучков ходил хмурый, в курилке не показывался.

– Глядите, – заметил кто-то, – Вася снова гуляет!

И правда: гуляет. Установили за ним слежку, обнаружили – что-то полезное в жизни из школьных уроков физики Вася усвоил надежно: из колбы спирт выливался на блюдце, которое помещалось между оконными рамами под лучи солнца.

Что испаряется раньше, у чего удельный вес легче, так? Так. Дальше рассказывать?

Первой жертвой «нашатырного» новшества оказался не кто иной, как ты.

Итак: в конце длинного коридора, замечаешь ты, лаборантка Шурочка, в её руке поблескивает вместительная колба, наполненная на две трети – разумеется, спиртом. Ты с безразличным видом направляешься ей навстречу, Шурочка приближается, поравнявшись с ней, ты заговорщицки подмигиваешь:

– Дай хоть нюхнуть!

– Нюхни, не жалко, – Шурочка, обычно неподкупная и непреклонная, протягивает колбу, приподняв пробку, и наблюдает, как ты, склонившись над колбой и вдохнув полной грудью, с остановившимся дыханием и вытаращенными глазами, пытаешься ей сказать что-то... Ты ей всё скажешь, но только потом, подкараулив момент, когда никого рядом не будет.

Были на твоей памяти в «Красном пролетарии» и почище истории – куда там Гучкову с его блюдцем! Миллионы валютных рублей, а значит, настоящих долларов, под хвост коту отправлялись: купили у западных немцев автомат, выдающий негативы – прямо с цветных картинок, тех же самых портретов, например, – и становится ненужен Вася с его фотоаппаратом, как и не нужны ретушеры. Человек может подвести, хорошо, если случайно, а если – нет?! Политика... Автомату – все равно, что или кого копировать, он не подведет. А начальству – не все равно, ему отвечать в случае чего.

Ты был в группе, назначенной для его освоения. Год бились – нет качества! Нет – и всё, не хочет автомат копировать портреты вождей. Пригласили специалиста из Германии: они изготовили автомат – вот пусть сами теперь разбираются! Разобрались, конечно: для текстильной промышленности – лучше аппарата не придумаешь, объясняет эксперт, а для издательства – вряд ли... И списали машину с баланса. Куда, кому она попала потом и попала ли вообще – тебе это осталось неизвестным. Хотя что-то из обретенного тогда опыта тебе сгодились позже – в дипломной работе.

* * *

Институт патентной информации.

– Каган, начальник производства: ротапринты, допотопные копировальные аппараты, машинистки, корректоры, ну и тому подобное. Кто не знает...

– Здравсте, очень приятно, Половец, – принимаю службу микрофильмирования.

Принял, конечно, а она тебя? Небольшое окно в тупике длинного коридора подвального этажа огромного здания Патентной библиотеки. Окно прорезано в стене рядом со всегда закрытой дверью. Дверь открывается, только чтобы впустить или выпустить. Перед окном несколько человек терпеливо дожидаются своей очереди – когда, наконец, ярко красивая блондинка протянет руку к прорези: «Что у вас?»

– «Вот, нам срочно нужны копии патентных описаний, здесь их номера и страны». – Блондинка забирает заполненную форму, бросает на нее взгляд и укладывает в стопку таких же листов. Она поднимает голову и роняет: «Месяц». – «Как месяц? Нам нужно теперь, завтра! Ну, через день хотя бы...»

– Следующий! – доносится из окошка.

Следующий – это ты. Извинившись перед стоящими у окна, ты обращаешься к блондинке:

– Можно вас на минутку!

Было – «не можно». Пришлось просто войти в помещение, когда дверь на минуту оказалась открыта.

– Гражданин, вы что, не видите разве – посторонним вход сюда запрещен!

– Знаете, я не совсем посторонний. И вывеску я вижу. Просто теперь я ваш начальник.

С сегодняшнего дня...

К вам подходят сотрудницы – одна, другая, они окружают вас, с любопытством, не таясь, разглядывают новенького, как бы прикидывая – сразу дать ему понять, кто здесь главный, или позже?.. Пытались, конечно, и не раз: каста подборщиков описаний патентов, женщин, работающих с архивом, в котором несколько миллионов документов, держит за горло начальство – да и, правда, как без них? Все остановится. Не все твои предшественники такое выдерживали. Тебе – пришлось выдержать, но это всё стало понятно потом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.